

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://belinskiyvissarion.ru/> Приятного чтения!

## О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский

Русский быт –  
Увы! – совсем не так глядит,  
Хоть о семейности его  
Славянофилы нам твердят  
Уже давно, – но, виноват,  
Я в нем не вижу ничего  
Семейного... О старине  
Рассказов много знаю я,  
И память верная моя  
Тьму песен сохранила мне  
Однообразных и простых,  
Но страшно грустных... Слышен в них  
То голос воли удалой.  
Все злою долею женой,  
Все подколодною змеей  
Опутанный, – то плач о том,  
Что тускло зимним вечерком  
Горит лучина, – хоть не спать  
Бедняжке ночь, и друга ждать.  
И тешить старую любовь, –  
Что ту лучину залила  
Лихая старая свекровь...  
О, верьте мне: не весела  
Картина – русская семья...  
Семья для нас всегда была  
Лихая мачеха, не мать.

А. Григорьев.{1}

Издавая в свет полное собрание стихотворений покойного Кольцова, мы прежде всего думаем выполнить долг справедливости в отношении к поэту, до сих пор еще не понятому и не оцененному надлежащим образом. Конечно, нельзя сказать, чтобы Кольцов не обратил на себя общего внимания еще при первом появлении своем на литературное поприще; но это внимание относилось не столько к поэту с сильным самобытным талантом, сколько к любопытному феномену. Большею частию в нем видели русского мужичка, который, едва зная грамоте, сам собою открыл и развил в себе способность писать стишкы, и притом недурные. Все поняли, что, по таланту, Кольцов выше Слепушкина, Суханова, Алипанова; но не многие поняли, что у него решительно не было ничего общего с этими поэтами-самоучками, как их тогда величали. Впрочем, это естественно, и тут некого винить. Для верной оценки всякого поэта нужно время, и не раз случалось, что даже великие гении в области искусства были признаваемы только потомством. Теперь этого уже не бывает, потому что теперь пустому, но блестящему таланту легче попасть в гении, нежели гению не быть признанным; но и теперь это признание целою массою общества тоже требует времени и обходится не без борьбы. То же самое можно отнести ко всякому замечательному таланту, выходящему из-под уровня обыкновенности.

Кроме этого обстоятельства, Кольцов явился в то время русской литературы, когда она, так сказать, кипела новыми талантами в новых родах. Едва замолкли поэты, вышедшие по следам Пушкина, как начали появляться романисты, нувеллисты, а потом поэты-стихотворцы, резко отличавшиеся от прежних своим направлением и колоритом. В литературе, молодой и не установившейся, новость возбуждает такое же внимание, как и гениальность, и часто считается за одно с нею, хотя и не надолго. Среди всех этих новостей сам Кольцов возбудил собою внимание, как новость, появившаяся под именем поэта-prasола. Будь он не мещанин, почти безграмотный, не прасол, – его стихотворения, может быть, едва ли были бы тогда замечены. Первые стихотворения Кольцова печатались изредка в разных малоизвестных изданиях. Публика узнала о нем только в 1835 году, когда, в Москве, вышла книжка его стихотворений, в числе восемнадцати пьес{2}, из которых едва ли половина носила на себе отпечаток его самобытного таланта, потому что пора настоящего творчества и полного развития таланта Кольцова наступила только с 1836 года. Однакоже внимание, какое обратили на Кольцова многие литераторы и, между ними, Жуковский и сам Пушкин, отозвалось и в публике. Книжка имела успех, и имя Кольцова приобрело общую известность. С 1836 года он постоянно печатал свои стихотворения в журналах: «Современник», «Телескоп», «Литературных прибавлениях к Русскому

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) инвалиду», «Сыне отечества» (1838), «Московском наблюдателе» (1838–1839), а потом большую частью в «Отечественных записках» и в альманахах: «Утренняя заря» и «Сборник»<sup>{3}</sup>. Когда даже и большие сочинения, повести и драмы, разбросаны таким образом по разным изданиям, – и тогда публике неудобно составить себе о их авторе определенное понятие; тем более это относится к автору мелких стихотворений, которые, в продолжение почти восьми лет, печатались в разных периодических изданиях. Появляется в журнале новое стихотворение даровитого поэта, производит свой эффект – и, как все в мире, мало-помалу забывается. Иной читатель и хотел бы вновь перечесть его, но для этого надо отыскивать стихотворение в куче журналов; а притом, не всякий помнит, где именно помещено оно, и не всякий имеет возможность доставать старые журналы. Таким образом, общий колорит и характер произведений поэта ускользает от читателей. От времени до времени поэт производит на них впечатление то тем, то другим своим стихотворением, но не общностию, не целостию своей поэзии, которая, – если он поэт с большим дарованием, должна представлять собою особый, самобытный и оригинальный мир действительности.

Прежде нежели приступим мы к рассмотрению произведений Кольцова, считаем нужным коснуться некоторых подробностей его жизни. Жизнь Кольцова не богата, или, лучше сказать, вовсе бедна, внешними событиями; но тем богатее история его внутреннего развития и тяжелой борьбы между его призванием и его суровою судьбою.

Алексей Васильевич Кольцов родился в Воронеже, в 1809 году, октября 2-го<sup>{4}</sup>. Отец его, воронежский мещанин, был человек не богатый, но достаточный, промышлявший стадами баранов для доставки материала на салотопленные заводы. Одаренный самыми счастливыми способностями, молодой Кольцов не получил никакого образования. Воспитание его предоставлено было природе, как это бывает у нас<sup>{5}</sup> и не в одном этом сословии. Само собою разумеется, что с ранних лет он не мог набраться не только каких-нибудь нравственных правил или усвоить себе хорошие привычки, но и не мог обогатиться никакими хорошими впечатлениями, которые для юной души важнее всяких внушений и толкований. Он видел вокруг себя домашние хлопоты, мелочную торговлю с ее проделками, слышал грубые и не всегда пристойные речи даже от тех, из чьих уст ему следовало бы слышать одно хорошее. Всем известно, какова вообще наша семейственная жизнь, и какова она в особенности в среднем классе, где мужицкая грубость лишена добродушной простоты и соединена с мещанскою спесью, ломаньем и кривлянием<sup>{6}</sup>. По счастию, к благодатной натуре Кольцова не приставала грязь, среди которой он родился и на лоне которой был воспитан. Сыздетства он жил в своем особенном мире, – и ясное небо, леса, поля, степь, цветы производили на него гораздо сильнейшее впечатление, нежели грубая и удущливая атмосфера его домашней жизни. Предоставленный самому себе, без всякого присмотра, Кольцов, подобно всем детям любивший бродить босиком по траве и по лужам, чуть было не лишился на всю жизнь употребления ног и долго был болен, так что хотя его впоследствии и вылечили, однако он всегда чувствовал отзывы этой болезни. Только необыкновенно крепкое сложение могло спасти его от калечества или и самой смерти как в этом, так и в других случаях его жизни. Так, например, будучи уже старше шестнадцати лет, он, на всем скаку, упал с лошади, через ее голову, и так сильно ударился тылом о землю, что на всю жизнь остался сутуловатым. Но несмотря на все это, он всегда был здоров и крепок.

На десятом году Кольцова начали учить грамоте под руководством одного из воронежских семинаристов. Так как грамота ребенку далась и он скоро ей выучился, его отдали в воронежское уездное училище, из которого он был взят, пробывши около четырех месяцев во втором классе: так как он умел уже читать и писать, то отец его и заключил, что больше ему ничего не нужно знать и что воспитание его кончено. Не знаем, каким образом был он переведен во второй класс, и вообще чему он научился в этом училище, потому что как ни коротко мы знали Кольцова лично, но не заметили в нем никаких признаков элементарного образования. Мало того: из примера Кольцова мы больше всего убедились в важности элементарного образования, которое можно получить в уездном училище. При всех его удивительных способностях, при всем его глубоком уме, – подобно всем самоучкам, образовавшимся урывками, почти тайком от родительской власти, Кольцов всегда чувствовал, что его интеллектуальному существованию недостает твердой почвы и что, вследствие этого, ему часто достается с трудом то, что легко усваивается людьми очень недалекими, но воспользовавшимися благодеяниями первоначального обучения. Так, например, он очень любил историю, но многое в ней было для него странно и дико, особенно все, что относилось до древнего мира, с которым необходимо сблизиться в детстве, чтобы понимать его. Для всякого, кто в уездном училище прошел хоть Кайданова историю, незаметно делаются как будто родственными

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) имена героев древности. Древняя жизнь и древний быт так не похожи на нашу жизнь и наш быт, что только через науку, в лета детства, можем мы освоиваться с ними и привыкать находить их возможными и естественными. Вследствие этого же недостатка в элементарном образовании Кольцов, при всей глубокости и гибкости своего эстетического вкуса, не мог понимать «Илиады», хотя и не раз принимался читать ее в переводе Гнедича, – между тем как Шекспир восхищал его даже в посредственных и плохих переводах, и он с жадностью собирая, читал и перечитывал их. Что он не много вынес из уездного училища, хотя и пробыл четыре месяца даже во втором классе, – это всего яснее видно из того, что он не имел почти никакого понятия о грамматике и писал вовсе без орфографии.

Несмотря на то, с училища началось для Кольцова пробуждение его интеллектуальной жизни: он начал пристрасться к чтению. Получаемые от отца деньги на игрушки он употреблял на покупку сказок, и «Бова Королевич» с «Ерусланом Лазаревичем» составляли его любимейшее чтение. На Руси не одна одаренная богатою фантазией натура, подобно Кольцову, начала с этих сказок свое литературное образование. Охота к сказкам всегда есть верный признак в ребенке присутствия фантазии и наклонности к поэзии, – и переход от сказок к романам и стихам очень естественен: те и другие дают пищу фантазии и чувству, с тою только разницею, что сказки удовлетворяют детскую фантазию, а романы и стихи составляют потребность уже более развившейся и более подружившейся с разумом фантазии. Но вот особенная черта, обнаружившая в Кольцове не только пассивную и воспринимающую, но и деятельную фантазию: читая сказки, он почувствовал охоту составлять самому что-нибудь в их роде. Но так как тогда он еще не имел привычки поверять бумаге все, что ни приходило ему в голову, то его неясные самому ему авторские порывания и остались в одних мечтах.

Десятилетний Кольцов взят был из училища отцом своим для того, чтобы помочь ему в торговле. Он брал его с собою в степи, где, в продолжение всего лета, бродил его скот; а зимою посыпал его с прикащиками на базары для закупки и продажи товара. Итак, с десятилетнего возраста Кольцов окунулся в омут довольно грязной действительности; но он как будто и не заметил ее: его юной душе полюбилось широкое раздолье степи. Не будучи еще в состоянии понять и оценить торговой деятельности, кипевшей на этой степи, – он тем лучше понял и оценил степь и полюбил ее страстно и восторженно, полюбил ее как друга, как любовницу.

Степь раздольная  
далеко вокруг,  
широко лежит,  
ковылем-травой  
расстилается!  
Ах, ты степь моя,  
Степь привольная,  
широко ты, степь,  
Пораскинулась,  
К морю Черному  
Понадвинулась! {7}

Многие пьесы Кольцова отзываются впечатлениями, которыми подарила его степь: «Косарь», «Могила», «Путник», «Ночлег чумаков», «Цветок», «Пора любви» и другие. Почти во всех его стихотворениях, в которых степь не играет никакой роли, есть что-то степное, широкое, размашистое и в колорите и в тоне. Читая их, невольно вспоминаешь, что их автор – сын степи, что степь воспитала его и взлелеяла. И потому ремесло прасола не только не было ему неприятно, но еще и нравилось ему: оно познакомило его с степью и давало ему возможность целое лето не расставаться с нею. Он любил вечерний огонь, на котором варились степная каша; любил ночлеги под чистым небом, на зеленой траве; любил иногда целые дни не слезать с коня, перегоняя стада с одного места на другое. Правда, эта поэтическая жизнь была не без неудобств и не без неудовольствий, очень прозаических. Случалось целые дни и недели проводить в грязи и слякоти, на холодном осеннем ветру, засыпать на голой земле, под шум дождя, под защитой войлока или овчинного тулуна. Но привольное раздолье степи, в ясные и жаркие дни весны и лета, вознаграждало его за все лишения и тягости осени и дурной погоды.

Расставаясь с степью, Кольцов только менял одно наслаждение на другое: в городе его ожидали сказки и товарищи. Симпатичная натура его рано открылась для любви и дружбы. Бывши еще в училище, он сблизился с мальчиком, ровесником ему по летам, сыном богатого купца. Стихотворение «Ровеснику» написано Кользовым, кажется, этому первому другу его юности{8}. Сблизила его с ним страсть к чтению, которая

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) в обоих них была сильна. У отца приятеля Кольцова было много книг, и друзья пользовались ими свободно, вместе читая их в саду. Кольцов даже брал их и на дом. Правда, эти книги были не что-нибудь дельное, а романы Дюкре-дю-Мениля, Августа Лафонтена и подобных им; но если для впечатлительной, одаренной сильною фантазией натуры и сказки о Бове и Еруслане могли служить нравственным будильником – то естественно, что эти романы еще более не могли не быть ей полезными. Больше всего полюбились Кольцову из этих книг «Тысяча и одна ночь» и «Кадм и Гармония» Хераскова, особенно первая. И не мудрено: арабские сказки созданы для того, чтобы пленять и очаровывать впечатлительное воображение детей и младенчествующих народов. Тогда русские простонародные сказки потеряли для Кольцова всю свою цену: это был с его стороны первый шаг вперед на пути развития. Ему уже не хотелось сочинять сказок: романы овладели всем существом его, и, разумеется, у него родилось желание самому произвести что-нибудь в этом роде; но это желание опять осталось при одной мечте.

Таким образом, между степью с баранами и чтением с приятелем провел Кольцов три года. В это время ему суждено было в первый раз узнать несчастье: он лишился своего друга, умершего от болезни. Горесть Кольцова была глубока и сильна; но он не мог не утешиться скоро, потому что был еще слишком молод и в нем было слишком много жизни, стремления и отзыва на призывы бытия. Чтение сделалось его прибежищем от горести и утешением в ней. После его приятеля ему осталось несколько десятков книг, которые он перечитывал на свободе, и в городе, и в степи. До сих пор он не читал стихов и не имел о них никакого понятия. Вдруг, нечаянно покупает он на рынке, за сходную цену, сочинения Дмитриева. В восторге от своей покупки, бежит он с нею в сад и начинает петь стихи Дмитриева. Ему казалось, что стихи нельзя читать, но должно их петь: так заключал он по песням, между которыми и стихами не мог тотчас же не заметить близкого сходства. Гармония стиха и рифмы полюбилась Кольцову, хотя он и не понимал, что такое стих и в чем состоит его отличие от прозы. Многие пьесы он заучил наизусть, и особенно понравился ему «Ермак»<sup>{9}</sup>. Тогда пробудилась в нем сильная охота самому слагать такие же звучные строфы с рифмами; но у него не было ни материала для содержания, ни умения для формы. Однакож материал вскоре ему представился, и он по-своему воспользовался им для первого опыта в стихах. Тогда ему было 16 лет. Одному из его приятелей приснился странный сон, повторившийся три ночи сряду. В молодые лета всякий сколько-нибудь странный или необыкновенный сон имеет для нас таинственное и пророческое значение. Приятель Кольцова был сильно поражен своим сном и рассказал его Кольцову, чем и произвел на него такое глубокое впечатление, что тот сейчас же решил описать его стихами. Оставшись один, Кольцов засел задолго, не имея никакого понятия о размере и версификации; выбрал одну пьесу Дмитриева и начал подражать ее стиху. Первые стихов десяток достались ему о большим трудом, остальные пошли легче, и в ночь готова была пречудовищная пьеса, под названием «Три видения», которую он потом истребил, как слишком нелепый опыт. Но как ни плох был этот опыт, однакож он навсегда решил поэтическое призвание Кольцова: после него он почувствовал решительную страсть к стихотворству. Ему хотелось и читать чужие стихи и писать свои, так что с этих пор он уже неохотно читал прозу и стал покупать только книги, писанные стихами. Так как в Воронеже и тогда существовала небольшая книжная лавка, то на деньги, которые иногда давал ему отец, Кольцов скоро приобрел сочинения Ломоносова, Державина, Богдановича. Он продолжал писать, стараясь подражать этим поэтам в механизме стиха; но вот горе: ему некому было показывать своих опытов, не с кем было советоваться на их счет, а, между, тем советник ему был необходим, – и он решился обратиться за советами к воронежскому книгопродавцу, наивно предполагая, что кто торгует книгами, тот знает и толк в книжном деле, и принес ему «Три видения» и другие свои пьесы. Книгопродавец был человек необразованный, но не глупый и добрый; он сказал Кольцову, что его стихи кажутся ему дурными, хоть он и не может ему объяснить, почему именно; но что если он хочет научиться писать хорошо стихи, то вот поможет ему книжка «Русская просодия», изданная для воспитанников благородного университетского пансиона». Видно, какой-то инстинкт сказал этому книгопродавцу, что он видит перед собою человека не совсем обыкновенного, и, видно, его тронуло страстное юношеское стремление Кольцова к стихотворству: он подарил ему «Русскую просодию» и предложил ему беззенежно давать книги для прочтения<sup>{10}</sup>. Нечего и говорить о радости Кольцова: он приобрел книгу, которая должна посвятить его в таинства стихотворства и дать ему возможность самому сделаться поэтом, и сверх того, у него очутилась под руками целая библиотека! Это было для него счастием, блаженством! Он избавился от необходимости перечитывать одни и те же книги; целый новый мир открылся перед ним, и он бросился в него со всем жаром, со всею жадностью нестерпимого голода и без разбору пожирал чтением и хорошее, и дурное. Книги, которые ему особенно

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) нравились, он, по прочтении, покупал, и его небольшая библиотека скоро обогатилась сочинениями Жуковского, Пушкина, Дельвига.

Таким образом, в раздолье этого чтения и в попытках на стихотворство прошло пять лет. Кольцов достиг семнадцатилетнего возраста, и тогда с ним совершилось событие, имевшее могущественное влияние на всю жизнь его. Мы уже говорили, что Кольцов принадлежал к числу тех страстных организаций, которые рано открываются для всех симпатий сердца, для любви и дружбы в особенности. До сих пор это были чувства и привязанности хотя жаркие, но детские: теперь настала пора чувств и привязанностей другого рода. В семейство Кольцова вошла молодая девушка, в качестве служанки. Несмотря на низкое звание, она получила от природы все, чем можно было потрясти в основании такую сильную и поэтическую натуру, какова была натура Кольцова. И его чувство не осталось без ответа. Не знаем, долго ли продолжалась эта связь; но знаем, что она не была шалостью или легким безотчетным чувством, впервые пробудившемся потребностию молодой кипящей крови. Нет, это была страсть глубокая и сильная, влияние которой Кольцов чувствовал всю жизнь свою. Он не только любил, он уважал, свято чтил предмет своей любви, в котором нашел свой осуществленный идеал женщины, еще не мечтая об идеалах и не ища их. Но эта связь, составлявшая жизнь и блаженство молодого поэта, не нравилась его семейству и даже беспокоила его. Известное дело, что в этом сословии первое задушевное желание отца состоит в том, чтобы поскорее женить своего сына на каком-нибудь размалеванном белилами, румянами и сурьмою болване с черными зубами и хорошим, соответственно состоянию семьи жениха, приданым. Связь Кольцова была опасна для этих мещанских планов, не говоря уже о том, что в глазах диких невежд, простодушно и грубо чуждых всякой поэзии жизни, она казалась предосудительной и ненравственною{11}. Надо было разорвать ее во что бы ни стало. Для этого воспользовались отсутствием Кольцова в степь, – и когда он вернулся домой, то уже не застал ее там.. Это несчастие так жестоко поразило его, что он схватил сильную горячку. Оправившись от болезни и призанявши у родных и знакомых деньжонок, он бросился, как безумный, в степи разведывать о несчастной. Сколько мог, далеко ездил сам), еще дальше посыпал преданных ему за деньги людей. Не знаем, долго ли продолжались эти розыски; только результатом их было известие, что несчастная жертва варварского расчета, попаввшись в Донские степи, в казачью станицу, скоро зачахла и умерла в тоске разлуки и в муках жестокого обращения...{12}

Эти подробности мы слышали от самого Кольцова в 1838 году. Несмотря на то, что он вспоминал горе, постигшее его назад тому более десяти лет, лицо его было бледно, слова с трудом и медленно выходили из его уст, и, говоря, он смотрел в сторону и вниз.. Только один раз говорил он с нами об этом, и мы никогда не решались более расспрашивать его об этой истории, чтоб узнать ее во всей подробности; это значило бы раскрывать рану сердца, которая и без того никогда вполне не закрывалась...

Эта любовь, и в ее счастливую пору и в годину ее несчастия, сильно подействовала на развитие поэтического таланта Кольцова. Он как будто вдруг почувствовал себя уже не стихотворцем, одолеваемым охотою слагать размеренные строчки с рифмами, без всякого содержания, но поэтом, стих которого сделался отзывом на призвы жизни, грудь которого носила в себе богатое содержание для поэтических излияний. Пьесы: «Если встречусь с тобой», «Первая любовь», «К ней» («Опять тоску, опять любовь»), «Ты не пой, словоей», «Не шуми ты, рожь», «К милой», «Примирение», «Мир музыки» и некоторые другие явно относятся к этой любви, которая всю жизнь не переставала вдохновлять Кольцова. Натура Кольцова была крепка и здоровая физически и нравственно. Как ни жесток был удар, поразивший его в самое сердце, но он вынес его, не закрыл глаз своих на природу и жизнь, не оглох к их обаятельным призывам, не ушел внутрь себя, не забился в какие-нибудь сладковато-мистические{13} утешения, как это делают после несчастия нравственно слабые натуры. Нет, он взял свое горе с собою, бодро и мощно понес его по пути жизни, как дорогую, хотя и тяжелую ношу, не отказываясь в то же время от жизни и ее радостей. В своем поэтическом призвании увидел он вознаграждение за тяжкое горе своей жизни и весь погрузился в море поэзии, читая и перечитывая любимых поэтов, и по их следам, пробуя сам извлекать из своей души поэтические звуки, которыми она была переполнена. К тому же, он уже не имел больше надобности носить свои стихотворения на суд к книгопродавцу, потому что нашел себе советника и руководителя, какого давно желал и в каком давно нуждался. И когда постигла его утрата любви, у него, как бы в вознаграждение за нее, остался друг. Это был человек замечательный, одаренный от природы счастливыми способностями и прекрасным сердцем. Натура сильная и широкая, Серебрянский, будучи семинаристом,

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) рано почувствовал отвращение к схоластике, рано понял, что судьба назначила ему другую дорогу и другое призвание{14}, и, руководимый инстинктом, он сам себе создал образование, которого нельзя получить в семинарии. В его натуре и самой судьбе было много общего с Кольцовым, и их знакомство скоро превратилось в дружбу. Дружеские беседы с Серебрянским были для Кольцова истинною школою развития во всех отношениях, особенно в эстетическом. Для своих поэтических опытов Кольцов нашел себе в Серебрянском судью строгого, беспристрастного, со вкусом и тактом, знающего дело. В послании к нему (написанном неизвестно в котором году – должно быть между 1827 и 1830), Кольцов говорит:

Вот мой досуг; в нем ум твой строгий  
Найдет ошибок слишком много;  
Здесь каждый стих – чай, грешный бред.  
Что ж делать! Я такой поэт,  
Что на Руси смешнее нет.  
Но не щади ты недостатки,  
Заметь, что требует поправки.{15}

Это послание вполне обнаруживает взаимные отношения обоих друзей и как важен был Серебрянский для развития таланта Кольцова. В самом деле, только с тех пор, как он сошелся с Серебрянским, и прежние его стихотворения, и вновь написанные достигли той степени удовлетворительности, что стали годиться для печати. Одни из них он поправлял по совету Серебрянского, а насчет удававшихся сразу был спокоен, опираясь на его одобрение. Но не долго пользовался Кольцов советами своего друга. Серебрянскому надо было избрать себе дорогу, и не столько по влечению, сколько по расчету, поприще врача он предпочел другим, чтобы не отчаиваться в будущем, по крайней мере в куске хлеба, и поступил в Московскую медико-хирургическую академию.

Как бы то ни было, но поэтическое призвание Кольцова было решено и сознано им самим. Непосредственное стремление его натуры преодолело все препятствия. Это был поэт по призванию, по натуре, – и препятствия могли не охладить, а только дать его поэтическому стремлению еще большую энергию. Прасол, верхом на лошади гоняющий скот с одного поля на другое, по колена в крови присутствующий, при резании, или, лучше сказать, при бойне скота; прикащик, стоящий на базаре у возов с салом, – и мечтающий о любви, о дружбе, о внутренних поэтических движениях души, о природе, о судьбе человека, о тайнах жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзанного сердца и умственными сомнениями, и в то же время, деятельный член действительности, среди которой поставлен, смышеный и бойкий русский торговец, который продает, покупает, бранится и дружится бог знает с кем, торгуется из копейки и пускает в ход все пружины мелкого торгащества, которых внутренне отвращается как мерзости: какая картина, какая судьба, какой человек!.. Возвращаясь домой, он встречает не ласку, не привет, а грубое, дикое невежество, которое никак не может простить ему того, что он хочет быть, человеком и, в этом отношении, уже резко отличился от невежественных животных в человеческом образе{16}. Но у него есть книги,

Много дум в голове,  
Много в сердце огня! {17}–  
и он закрывает глаза на грязную действительность, не замечает презрения, не видит ненависти. Презрение, ненависть!.. За что же?.. Кому он сделал зло, кого обидел? Не жертвует ли он лучшими своими чувствами, благороднейшими своими стремлениями этой грязной и сальной действительности, чтобы тяжким трудом и скучными хлопотами, в чуждой ему сфере способствовать материальному благосостоянию своего семейства{18}? Но, увы! удивляться этому-презрению и этой ненависти без причины, значит не знать людей. Сойдитесь с пьяницей, сами оставаясь трезвым человеком: он не взлюбит вас. Неряха никогда не простит вам опрятности, низкопоклонник – благородной гордости, негодяй – честности. Но еще более невежество не простит вам ума и стремления к образованности. И как простить! Не желая оскорблять его, будучи с ним ласковы и обязательны, вы все-таки унижаете его вашим достоинством, вы – живой упрек ему! И если это невежество – пожилой, почтенный человек, ничего не умеющий делать, а вы юноша, который и в житейских делах превосходит его способностью и соображением: тогда он лютый, непримиримый враг ваш. Он воспользуется вашими услугами, выжмет вас насухо, как апельсин, а потом растопчет ногами и выбросит за окно, видя, что вы уже больше не нужны ему...

Слух о самородном таланте Кольцова дошел до одного молодого человека, одного из тех замечательных людей, которые не всегда бывают известны обществу, но

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru)  
благовейные и таинственные слухи о которых переходят иногда и в общество из  
тесного кружка близких к ним людей. Это был Станкевич, сын, богатого  
воронежского помещика, бывший в то время в Московском университете и приезжавший  
на каникулы в свою деревню, а оттуда иногда и в Воронеж. Станкевич познакомился  
с Кольцовым, прочел его опыты и одобрил их{19}. В 1831 году Кольцов, поделай  
отца своего, приехал в Москву и, через Станкевича, приобрел там несколько новых  
знакомств, впоследствии довольно важных для него. В это время две или три пьески  
его были напечатаны с его именем в одном, впрочем, довольно плохом московском  
журнальце{20}. Для Кольцова, еще не смевшего верить в свой талант, это было  
лестно и приятно. Впоследствии Станкевич предложил ему на свой счет издать его  
стихотворения. Это намерение было выполнено в 1835 году. Из довольно увесистой и  
толстой тетради Станкевич выбрал 18 пьес, показавшихся ему лучшими, и напечатал  
их в маленькой опрятной книжке, которая доставила Кольцову большую известность в  
литературном мире. Правда, тут больше всего действовало волшебное словцо:  
поэт-самоучка, поэт-prasol, – и будь эти 18 стихотворений изданы как  
произведения человека хотя бы и крестьянского звания по рождению, но кончившего  
курс в университете и уже служившего чиновником в департаменте, на них не  
обратили бы такого внимания. Но надо и то сказать, что в этой книжке видно было  
больше обещание в будущем сильного таланта, нежели сильный талант в настоящем.

1836-й год был эпохой в жизни Кольцова. По делам отца своего он должен был  
побывать в Москве и Петербурге и пробыть довольно долгое время в обеих столицах.  
В Москве он коротко сблизился с одним молодым литератором, с которым  
познакомился еще в первый приезд свой в Москву{21}. Новый приятель познакомил  
его со многими московскими литераторами. Эти знакомства обогатили его книгами,  
потому что почти каждый литератор спешил дарить его своими сочинениями и  
изданиями. Таким образом, библиотека его в короткое время значительно  
умножилась. Что же касается до чести знакомства со всеми литературными  
знаменитостями, большими и малыми, – то нельзя сказать, чтобы Кольцов добивался  
ее или слишком дорожил ею. С одной стороны, он был скромен и робок, а с другой,  
в нем сильно было чувство своего человеческого достоинства, и потому он не любил  
быть на выставке. По чувству деликатности и благодарности он позволял  
принимавшим в нем участие людям развозить его по литературным знаменитостям; он  
играл тут более пассивную, нежели деятельную роль. Он никак не мог убедиться,  
чтобы он, по своим достоинствам, имел право на внимание чуждых ему людей.  
Представляться кому бы то ни было в качестве таланта, или литературной редкости,  
ему было и неловко и больно. Притом же, Кольцов был очень проницателен и имел  
много такту: он очень хорошо понимал и видел, что одни принимали его как  
диковинку, смотрели на него, как смотрят на заморского зверя, на великана, на  
карлика; что другие, снисходя до равенства в обращении с ним, были в» восторге  
от своей просвещенной готовности уважать талант даже и в мещанине и что только  
слишком немногие протягивали ему руку с участием и искренностью. Некоторые  
смотрели на него с чувством своего достоинства и говорили с ним тоном  
покровительства; а некоторые только из вежливости не оборачивались к нему  
спиною. Все это он очень хорошо видел и понимал. Один знаменитый московский  
литератор обошелся с ним очень суcho, хотя и вежливо; потом, встретившись с  
молодым литератором, который представил ему Кольцова, начал над ним подшучивать:  
«Что-де вы нашли в этих стишонках, какой тут талант? Да это просто ваша  
мистификация: вы сами сочинили эту книжку ради шутки». Другой, тоже очень  
известный литератор, не нашел ничего поэтического в наружности, манерах и словах  
Кольцова, а напротив, увидел в нем очень положительного человека, из чего и  
заключил, что у него не может быть таланта... Это последнее заключение особенно  
замечательно: так судит толпа о поэте! Не находя в себе довольно способности,  
чтоб из сочинений поэта удостовериться в его таланте, – она требует от него,  
чтоб он показывался перед нею не иначе, как в поэтическом мундире, то есть с  
кудрями до плеч, с вдохновенным взором, с восторженной речью, с поэтическим  
опьянением или безумием в манерах и движениях. Тогда ей легко признать его  
поэтом. Но, увы! Кольцов никак не подходил под этот идеал поэта: он был  
слишком умен, слишком хорошо знал жизнь и людей, чтобы играть глупенькую и  
пошленькую роль энтузиаста. Он не любил обращать на себя внимание и думал, что в  
обществе особенно должно держать себя прилично, быть просто человеком, как все,  
а не гением, не поэтом. Он не принадлежал к числу тех глупцов, которые думают,  
что если им удалось скропать порядочную статейку, повестцу или десяток  
стихотворений, то все должны почитать за счастье видеть их, и что кому они  
протянули свою руку, тот должен быть без ума от радости. Кольцов не был скор ни  
на знакомства, ни на дружбу. Когда он видел с чьей-нибудь стороны слишком много  
ласки к нему, это пугало его и заставляло быть осторожным. Он никак не мог  
думать, чтобы в нем было что-нибудь особенное, за что нельзя было не любить его.

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) «Что я ему? Что такое во мне?» говоривал он в таких случаях. Но когда он сходился с человеком, когда уверялся, что тот не из прихоти, а действительно расположен к нему и что он сам может платить ему тем же, – тогда раскрывал он свою душу, и на его преданность можно было положиться, как на каменную гору. Он умел любить, глубоко чувствовал потребность дружбы и любви и, как немногие, был способен к ним; но не любил шутить ими...

Однако знакомства с литературными знаменитостями были для него не без приятности. Когда он освобождался от замешательства первого представления и сколько-нибудь освоивался с новым лицом, оно интересовало его. Говоря мало, глядя немножко исподлобья, он все замечал, и едва ли что ускользало от его проницательности, – что было ему тем легче, что каждый готов был видеть в нем скорее замешательство и нелюдимость, нежели проницательность. Ему любопытно было видеть себя в кругу тех умных людей, которые издалека казались ему существами высшего рода; ему интересно было слышать их умные речи. Много ли наслушался он их, об этом мы кое-что слышали от него впоследствии...

В Петербурге Кольцов познакомился с князем Одоевским, с Пушкиным, Жуковским и князем Вяземским, был хорошо ими принят и обласкан. С особенным чувством вспоминал он всегда о радушном и теплом приеме, который оказал ему тот, кого он с трепетом готовился увидеть, как божество какое-нибудь, – Пушкин. Почти со слезами на глазах рассказывал нам Кольцов об этой торжественной в его жизни минуте. Кто познакомился в Петербурге с первыми литературными знаменитостями, тому ничего не стоит перезнакомиться с второстепенными. Сперва он и здесь больше все молчал и наблюдал, но потом, смекнув делом, давал волю своей иронии... О, как бы удивились многие из фельетонных и стихотворных рыцарей, если бы могли догадаться, что этот мужичок, которого они думали импонировать своею литературною важностию, видит их насквозь и умеет настоящим образом ценить их таланты, образованность и ученость...

В 1838 году Кольцов опять был по делам в Москве и Петербурге. В этот раз он особенно долго жил в Москве, и до отъезда в Петербург, и по возвращении из него, и жизнь в Москве особенно полюбилась ему на этот раз. Постоянно приятное расположение духа было причиною, что он написал в это время много хорошего. Возвращение домой было для него довольно грустно. Он вдруг почувствовал, что есть другой мир, который ближе к нему и сильнее манит его к себе, нежели мир воронежской и степной жизни. Им овладело чувство одиночества, которое преодолевалось в нем только любовью к природе и чтением. Вот что писал он об этом к одному из своих московских приятелей{22}: «В Воронеж я приехал хорошо; но в Воронеже жить мне противу прежнего вдвое хуже; скучно, грустно, бездомно в нем. И все как-то кажется то же, да не то. Дела коммерции без меня расстроились порядочно, новых неприятностей куча; что день – то горе, что шаг – то напастя. Но, слава богу, как-то я все их переношу теперь терпеливо, и они сделались для меня будто предметами посторонними и до меня почти не касающимися. На душе тепло, покойно. Хорошее лето, славная погода, синее небо, светлый день, вечерняя тишина – все прекрасно, чудесно, очаровательно, – и я жизни живу и тону всею душою в удовольствиях нашего лета. Благодарю вас, благодарю вместе и всех ваших друзей. Вы и они много для меня сделали, о, слишком много, много! Эти последние два месяца стоили для меня пяти лет воронежской жизни. Я теперь гляжу на себя и не узнаю. Словесностью занимаюсь мало, читаю немного – некогда, в голове дрянь такая набита, что хочется плакать; материализм дрянной, гадкий, и вместе с тем необходимый. Плавай, голубчик, на всякой воде, где велят дела житейские; ныряй и в тине, когда надобно нырять; гнись в дугу и стой прямо в одно время. И я все это делаю теперь даже с охотою. Нового не написал ничего – некогда. Воронеж принял меня противу прежнего в десять раз радушнее; я благодарен ему. До меня люди выдумали, будто я в Москве женился; будто в Питер уехал навсегда жить; будто меня оставили в Питере стихи писать. И все встречаются со мной, и так любопытно глядят, как на заморскую чучелу. Я сгоряча немного посердился на них за это; но подумал, и вышло, что я был глуп. На людей сердиться нельзя и требовать строго от них нельзя; кривое дерево не разогнешь прямо, а в лесу больше кривого и суковатого, чем ровного. Люди правы: они судят по-своему. Спасибо и за это, и мне они нравятся в этих странностях. Старики-отец со мною хороши; любят меня более за то, что дело хорошо кончилось: он всегда такие вещи очень любит. Степь опять очаровала меня, я чорт знает до какого забвения любовался ею. Как она хороша показалась, и я с восторгом пел: «Пора любви» – она к ней идет{23}. Только это чувство было другого совсем рода; после мне стало на нее скучно. Она хороша на минуту, и то не одному, а сам-друг, и то не надолго. К ней приехал погостить – и в город, в столицу, в кипяток жизни, в борьбу

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru)  
страстей! А то она сама по себе слишком однообразна и молчалива. Серебрянский  
доехал до двора, но очень болен; кажется, проживет не более месяцев двух, а  
может, я ошибаюсь. С моими знакомыми расхожусь помаленьку, наскучили мне их  
разговоры пошлые. Я хотел с приезда уверить их, что они криво смотрят на вещи,  
ошибочно понимают; толковал так и так. Они надо мной смеются, думают, что я несу  
им вздор. Я повернул себя от них на другую дорогу; хотел их научить – да ба! – и  
вот как с ними поладил: все их слушаю, думая сам про себя о другом; всех их  
хвалю во всю мочь; все они у меня люди умные, ученые, прекрасные поэты,  
философы, музыканты, живописцы, образцовые чиновники, образцовые купцы,  
образцовые книгопродавцы; и они стали мной довольны; и я сам про себя смеюсь над  
ними от души. Таким образом, все идет ладно; а то, что в самом деле из ничего  
наживать себе дураков-врагов. Уж видно, как кого господь умудрил, так он с своею  
мудростью и умрет».

В этом письме весь Кольцов. Так писал он всегда и почти так говорил. Речь его  
была всегда несколько вычурна, язык не отличался определенностию, но зато  
поражал какою-то наивностию и оригинальностью. Тогдашнее состояние души его  
выражено в этом письме вернее, нежели как, может быть, думал он сам. Глазам его  
открылся другой мир; воронежская жизнь сделалась скучна; только прекрасная пора  
лета составляла всю его отраду; он любил еще степь, но уже не так, как прежде: в  
первый раз понял он, что она однообразна, что на ней весело быть на минуту, и то  
не одному... Итак, кончилась эпоха непосредственной жизни. Прошедшее спало с ценой,  
настоящее стало грустно, и взоры невольно начали обращаться на будущее. Прежние  
знакомства, дотоле сносные и, может быть, даже приятные, сделались невыносимы, и  
те же люди явились в другом свете. Все родное Кольцова было уже не в опустелом  
для него Воронеже, а в Москве, и туда стремились все думы его. В семействе своем  
он горячо любил младшую сестру, и между ними существовала самая тесная дружба.  
Кольцов видел в сестре много хорошего, уважал ее вкус и часто советовался с нею  
насчет своих стихотворений, словом, делился с нею своею внутреннею жизнию. Веря  
в ее к нему задушевное расположение, он делал для нее все, что мог.  
Настойчивостию, просьбами, лестью, всякими хитростями он склонил своего отца  
купить ей фортопьяно и нанять учителя музыки и французского языка. Новые связи и  
отношения, новый мир, открывшийся ему, не ослабил этой дружбы, хотя одной ее ему  
было уже мало, и сердце его рвалось вдаль. Натура Кольцова была не только  
сильна, но и нежна; он не вдруг привязывался к людям, сходился с ними  
недоверчиво, сближался медленно; но когда уже отдавался им, то отдавался весь.  
Это имело для него гибельные следствия в отношении к некоторым привязанностям:  
предательство, вероломство, низкие интриги особы, которой он был предан  
безусловно и которая казалась ему также преданною, были для него страшным  
ударом. Он все на свете мог перенести, кроме этого, и кошачья лапка имела силу  
ранить его сильнее львиной лапы... Горячо любил он своего маленького брата, но тот  
давно уже умер, к его крайнему прискорбию. С отцом он был всегда на политических  
отношениях, которые и в размолвке и в мире были борьбою. Тут старые предрассудки  
и невежество явно и тайно боролись с смелым умом и стремлением к свету{24}.

Счастливое окончание некоторых важных для благосостояния семейства дел и лестное  
внимание В. А. Жуковского к Кольцову, – внимание, которому свидетелем был весь  
Воронеж в 1837 году, способствовали наружному миру и согласию между отцом и  
сыном. К тому же сын был еще необходим для отца{25}: на нем лежали все торговые  
дела, на него переведены были все долги, все векселя и обязательства; на его  
деятельности, его умении и ловкости вести дела лежала участь целого дома,  
который был в таком положении, что еще несколько счастливо преодоленных  
препятствий, и его благосостояние совершенно упрочивалось; но в случае неуспеха  
должно было следовать конечное разорение{26}.

Если бы Кольцов принялся за дела, будучи лет 18-ти, не раньше, наверное можно  
сказать, что он с ними никак бы не освоился и его поэтическая натура с ужасом и  
омерзением отворотилась бы от этой грязной действительности. Но он понемногу и  
незаметно для самого себя освоился с ними с детства; эта действительность  
украдко подошла к нему и овладела им прежде, нежели он был в состоянии увидеть  
ее безобразие. Сам не зная как, втянулся он в дела мелкого торгашества, тем  
легче, что они не отнимали же у него вовсе возможности предаваться чтению,  
мечтам, природе и поэзии. Он же так полюбил степь! На ней началось его изучение  
действительности и людей и борьба с ними; здесь была его школа жизни. Тут  
случались с ним обстоятельства не только неприятные, даже страшные. Раз, в  
степи, один из работников за что-то так озлобился на него, что решил его  
зарезать. Намекнули ли об этом Кольцову со стороны, или он сам догадался; но  
медлить было нельзя, а обычновенными средствами защищаться невозможно. Надо было  
решиться на трагикомедию, и Кольцова достало на нее. Будто ничего не подозревая

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) и не замечая, он стал с мужиком необыкновенно любезен, достал вина, пил с ним и братался. Этим опасность была отстранена, потому что русского мужика сивухою так же можно и отвести от убийства, как и навести на него. Только по возвращении в Воронеж Кольцов снял о себя маску перед отчаянным удальцом, требовавшим расчета. При этом расчете, продолжавшемся очень долго, злодей имел причину и время раскаться в своем умысле, а может быть, и в том, что не удалось ему его выполнить... Вот мир, в котором жил Кольцов, вот борьба, которую он вел с действительностью!.. Не с одними волками, которые стаями следили за стадами баранов, приходилось ему вести ожесточенную войну...

Около этого времени, то есть последней поездки его в Москву, к прочим хлопотам Кольцова присоединилась еще постройка нового дома, который, по величине своей, должен был давать около семи тысяч ассигнациями ежегодного доходу. К несчастью, не один он был наследником этого дома – обстоятельство, которое впоследствии дорого ему стоило... Все эти дела он вел и ладил и через два года довел на свою погибель до желанного конца... Но в это время они начали тяготить его, и в нем все больше и больше усиливалось отвращение к ним. Это не было следствием пошлого идеальничанья, которое любит одни облака и не любит земли, нет, тут был другой, благороднейший источник. Кольцов полагал большое различие между купцом-капиталистом, которому не только необходимо – даже выгодно быть честным, потому что честность дает кредит, а без кредита большая торговля невозможна; и между мелким торговцем, которого положение всегда скользко, ненадежно, неопределенno, который всегда принужден вертеться ужом и жабою, кланяться, подличать, божиться, натягивать всеми правдами и неправдами... Кольцов не боялся дела, но не любил низости и грязи. Волею и неволею был он с детства завербован в эту грязную деятельность; запряженный раз, терпеливо тащил свою ношу в надежде будущих благ; но по временам эта ноша доводила его до отчаяния. С последней поездки в Москву эти минуты уныния, апатии и тоски стали являться чаще. Одна надежда облегчала их. По отстройке дома он думал сдать отцу приведенные им в порядок дела по степи, а самому заняться присмотром за домом и открыть в нем книжную лавку. Это значило бы для него примирять потребности своей натуры с внешней деятельностью. Но при всем своем знании жизни и людей Кольцов жестоко обманывался в своей надежде... Но пока надо было жить, как судьба хотела.

Следующие строки из письма его к одному из знакомых ему петербургских литераторов, писанные еще в 1836 году, представляют яркую картину его занятий: «Батянька два месяца в Москве, продаёт быков; дома я один, дел много. Покупаю свиней, становлю на винный завод на барду; в роще рублю дрова; осенью пахал землю; на скорую руку езжу в села; дома по делам хлопочу с зари до полночи»{27}. Но тогда он не жаловался, а через два года писал в Москву к приятелю: «Писать к вам хочется, а ничего не идет из головы. Плоха что-то моя голова сделалась в Воронеже, одурела вовсе, и сам не знаю от чего – не то от этих дел торговых, не то от перемены жизни. Я было так привык быть у вас и с вами, так забылся для всего другого; а тут вдруг все надообно позабыть, делать другое, думать о другом – ведь и дела торговые тоже сами не делаются, тоже кой о чем надообно подумать да подумать. Так одряхлел, так отяжелел: право, боюсь, чтоб мне не сделаться вовсе человеком материальным. Боже избави! уж это будет весьма рано; не хотелось бы это слышать от самого себя. Что-то скажет осень. Кажется, у ней будет для меня больше свободного времени – посмотрим. Стройка дома без меня и дела торговые у отца шли дурно. Теперь, слава богу, плывет ровнее. С отцом живем хорошо, ладно – и лучше. Он ко мне больше имеет уважения теперь, нежели прежде, а все виною хороший конец, дела. Он эти вещи очень любит, и хорошо делает: ему старику это идет»{28}. Месяца через два он писал к тому же лицу: «Хотелось бы писать к вам совсем не так, как пишу теперь; но что ж прикажете делать, когда дела дьявольски работают со мною. Бойка скота, стройка дома, туда, сюда – аж на душе тошнит, так хорошо мне жить! – Серебрянский умер. Да, лишился я человека, которого любил столько лет душою и которого потерю горько оплакиваю. Много желаний не сбылось, много надежд не исполнилось – проклятая болезнь! Прекрасный мир прекрасной души, не высказавшись, скрылся навсегда. Да, внешние обстоятельства могут подавить и величую душу человека, если они беспрерывно тяготят ее и когда противу них защиты нет. На плодотворной почве земли хорошо удобрят человек свою ниву, посеят хлеб; но не сберег плода, если лето выжжет корень, роса зари ему не помочь – ей нужен в пору дождь. А этой-то земной благодати и капли не сошло на его жизнь, нужда и горе сокрушили тело страдальца. Грустно думать, был некогда, недавно даже, милый человек – и нет его, и не увидишь никогда, и все кругом тебя молчит, и самый зов свидания мрет безответно в бесчувственной дали»{29}. Интересны и следующие строки из одного письма Кольцова как живое свидетельство того, что значили для этой симпатичной натуры дружеские связи и отношения: «Не было еще мучительнее в жизни моей состояния, как в прошлом году. Плохое, мучительное

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru)  
дело, больной Серебрянский – смерть его все довершила. Скажите: в одну минуту  
разломить, что крепло несколько лет – моя любовь к нему, прекрасная душа его,  
желания, мечты, стремления, ожидания, надежды на будущее – и все вдруг! Вместе  
мы с ним росли, вместе читали Шекспира, думали, спорили. И я так много был ему  
обязан, он чересчур меня баловал. Вот почему я онемел было совсем и всему хотел  
сказать: прощай! и если бы не вы, я все бы потерял навсегда. Ведь меня не очень  
увлекала и увлекает блестящая толпа; сходка, общество людей – конечно, хорошо,  
но если есть человек, то так; а без него толпа не много дает. Опять я такой  
человек, которому надобны сильные потрясения; иначе я – ноль. Никто меня не  
уничижит с другою душою, а собственно мою уничижит всякий»{30}.

Таким образом прошел для Кольцова и еще год, и горизонт его жизни все гуще и  
гуще заволакивался тучами. Светлые минуты навещали его все реже и реже.  
«Пророчески угадали вы мое положение (писал он, в 1840 году, в Петербург, к  
приятелю); у меня у самого давно уже лежит на душе грустное это сознание, что в  
Воронеже долго мне не сдобровать. Давно живу я в нем и гляжу вон, как зверь.  
Тесен мой круг, грязен мой мир, горько жить мне в нем, и я не знаю, как я еще не  
потерялся в нем давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживает меня от  
падения. И если я не переменю себя, то скоро упаду; это неминуемо, как дважды  
два – четыре. Хоть я и отказал себе во многом, и частично, живя в этой грязи,  
отрещил себя от ней, но все-таки не совсем, но все-таки я не вышел из нее»{31}.  
В это время Кольцову было сделано из Петербурга предложение принять управление  
книжною лавкою, основанною на акциях. Другое предложение было сделано ему А. А.  
Краевским – принять на себя заведывание конторою «Отечественных записок». Первое  
предложение было ему совершенно не по душе. Сумма акций была незначительная, а  
он был убежден, что начинать какую бы то ни было торговлю можно только с большим  
капиталом и что иначе поневоле выйдет или разорение, или не торговля, а  
торгашество со всеми его проделками, при одной мысли о которых ему делалось  
падко. Кроме того, ему ни того, ни другого предложения нельзя было принять еще и  
потому, что, по причине долга в 20 000, векселя которого были сделаны на его  
имя, он не мог выехать из Воронежа против воли отца. Раз как-то Кольцов зажился  
в Москве, и только что приехал домой, как его зовут в полицию, по векселю в 3  
000 рублей. Опоздай он несколькими днями, и вексель был бы послан в Москву, где  
он не имел бы никакой возможности расплатиться по нему. И это было бы делом отца  
его. «Он человек простой, купец, спекулянт, вышел из ничего, век рожь молотил на  
обухе. Так его грудь так черства, что его на все достанет для своей пользы и для  
дел своей торговли. Настоящий купец устраивает одни свои дела, а есть ли польза  
от них другим – ему и дела нет, и он что только с рук сойдет, все делать во  
всякую пору готов. Мне от него и так достается довольно. Чуть мало-мальски что  
не так, ворчит и сердится: вы, говорят, все по-книжному да по-печатному, народ  
грамотный – ума палата»{32}. – Далее: «Вы боитесь за меня, чтоб я скоро не  
потерялся. Это правда, и такая правда, какая она лишь может быть, – не только  
через пять лет, даже и скорее, живя так и в Воронеже. Но что ж делать? Буду  
жить, пока живется, работать, пока работается. Сколько могу, столько и сделаю;  
употреблю все силы, пожертвую сколько могу; буду биться до конца-края, приведу в  
действие все зависящие от меня средства. И когда после этого упаду – мне  
краснеть будет не перед кем, и перед самим собою я буду прав. Другого делать  
ничего. А что в 1838 году написал так много порядочного – это потому, во-первых,  
что я был с вами и с людьми, которые меня каждый день настроивали, а во-вторых,  
я почти ничего не делал и был празден. Тяготило меня до смерти одно дело, но  
только одно дело, не больше. И я все еще писал там мало. А здесь кругом меня  
другой народ – татарин на татарине, жид на жиде, а дел – беремя: стройка дома  
(которая кончилась с месяц назад), судебные дела, услуги, прислуги, угождения,  
посещения, счеты, расчеты, браны, ссоры. И как еще я пишу? И для чего пишу? –  
для вас, для вас одних; а здесь я за писание терплю одни оскорблении. Всякий  
подлец так на меня и лезет, дескать, писаке-то и крылья ошибить... Это меня часто  
смешит, когда какой-нибудь чудак петушится»{33}.

Осенью 1840 года снова представился Кольцову случай ехать в Москву и Петербург.  
Хотя это было по двум тяжелым делам, однако он был рад и им, как слышаю  
вырваться из Воронежа и увидеться с людьми родными ему по чувству и по мысли.  
Это была его последняя поездка. Московский друг его давно уже жил в Петербурге,  
и по приезде сюда Кольцов остановился у него и прожил с ним около трех  
месяцев{34}. Одно дело его было проиграно. Надо было спешить в Москву поправить  
и спасти другое, самое важное. Так как из Москвы ему надо было ехать домой, то  
он отправлялся в нее с тоскою. Его мучили тяжкие предчувствия, которые и не  
обманули его. Мысль о возвращении в Воронеж ужасала его. Он уже колебался, не  
остаться ли ему в Петербурге навсегда, кончивши дело в Москве; но остаться безо

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) всего, с одними своими средствами, начать снова поприще лавочного сидельца, прикаща, мелкого торгаша – одна мысль об этом приводила его в бешенство. Он все надеялся, что отец даст ему тысяч десять денег, на условии отказаться от дома и всякого другого наследства, и что с этим небольшим капиталом он найдет возможность пристроиться в Петербурге и вести в нем тихую жизнь, зарывшись в книги и учась всему, чему не мог учиться в свое время. Из Москвы он писал к своему приятелю: «Ах! если бы к вам скорее! Если бы вы знали, как не хочется мне ехать домой – так холодом и обдает при мысли ехать туда, а надо ехать, – необходимость, железный закон»{35}. Дело его в Москве кончилось хорошо, чем, как и в прежних делах, он особенно был обязан благородному участию князя П. А. Вяземского, снабжавшего его рекомендательными письмами к особам, доступ к которым иначе был бы для него невозможен. Новый год встретил он шумно и весело, в кругу своих московских друзей и знакомых. Время шло, а он все жил в Москве. «Не хочется ехать (писал он), да и только. Вот пришло время – и дом и родные не взлюбились наконец. И если бы была какая-нибудь возможность жить в Питере – я бы прямо марш, и остался бы в нем навсегда. Но без средств этого сделать нельзя, – и я еду домой. И эта поездка много похожа на ловлю сурков: их из земли выливают водой, а меня нужда посыпает голодом. Я писал к отцу по окончании дела, чтобы он прислал мне денег. Старик мой говорит: денег нет тебе ни копейки, а что дело кончилось хорошо, мне все равно, хотя бы кончилось и дурно. Мне 68 лет и жить осталось меньше, чем вам. Я даже слышал, что ты хочешь остаться в Питере – с богом, во святой час. Благословение дам, а больше ничего. – Я прочел сии родительские строки и сказал: вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Спросите: отчего так сделалось? А вот отчего: дело кончилось последнее и самое гадкое; следственно, его кредит теперь очищен совершенно. Прежде он боялся полиции, и потому любил меня до излишества; а теперь она ему ф не страшна – и дом его, и все у него в руках: так я, выходит, стал ему не нужен... Эта новость, и особенно эта непризнательность, срезали меня глубоко. Вот отчего я так долго живу в Москве и не еду домой, и ехать не хочется, и не пишу к вам. Я, признаюсь, думал сначала махнуть в Питер; но как прохватил меня голод, я и присел – и хорошо сделал»{36}.

По возвращении домой Кольцов нашел, по обыкновению, все дела в упадке и расстройстве, благодаря старческой мудрости и опытности, и принялся их устраивать. Отец принял его холодно и едва согласился давать ему тысячу рублей в год из семи тысяч, которые должен был приносить дом, в ожидании чего Кольцов должен был жить и трудиться без копейки в кармане – он, которому одному все семейство было обязано своим благосостоянием{37}... Тогда им овладела одна мысль – устроивши дела, ехать в Петербург, куда отец отпускал его охотно, уплативши все долги по векселям на имя сына и решившись прекратить торговлю скотом. Но в это время Кольцов начал дурно себя чувствовать и на страстной неделе чуть не умер, но однажды кое-как оправился. К счастию, доктор его был человек благородный и симпатичный, который лечил его больше из личного расположения к нему, нежели из расчета; он знал вперед, что получит беззелицу, а занимался своим пациентом с дружеским участием. Во время самых сильных припадков болезни Кольцов говорил ему: «Доктор, если моя болезнь неизлечима, если вы только протягиваете жизнь, то прошу вас не тянуть ее. Чем скорее, тем лучше, и» вам меньше хлопот». Доктор ручался за его излечение. «Когда так, будем лечиться». Что терпел Кольцов во время болезни от близких и кровных, за исключением матери, принимавшей в нем искреннее участие, о том страшно и подумать... Это усилило расстройство его здоровья. Но тут, как нарочно, судьба-предательница послала ему жизнь и радость, можно сказать, блаженство, за которое он дорого должен был расплатиться. Страстною любовью озарился восход его жизни; пышным, багряным, но зловещим блеском страстной любви озарился и закат его жизни. Закрыв глаза на все, полною чашею, с безумною жадностью, пил наш страдалец отправительные восторги. На беду его{38}, эта женщина была совершенно по нем – красавица, умна, образована, и ее организация вполне соответствовала его кипучей, огненной натуре. Нужда заставила ее расстаться с ним. Еще до этой разлуки он уже почувствовал ослабление во всем организме своем; вскоре открылась болезнь. Знакомый ему доктор снова помог ему; но вслед за тем открылась боль в груди, слабость во всем теле, по ночам сильная испарина, расстройство желудка и желудочный кашель. По совету доктора Кольцов поехал на дачу к одному из своих родственников, чтобы там купаться в Дону. Это его немного поправило; но осень наступила прежде, нежели он успел кончить курс своего купанья, и надо было прекратить его. Вслед за тем сделалось воспаление в почках; но даже и после этого он все-таки стал оправляться. до сих пор он ничего не читал, не писал, ни о чем не думал, кроме лекарства, лечения, обеда и ужина; но тут опять принялся за свои занятия, воскрес нравственно. Нельзя не удивляться силе духа этого человека. Правда, он надеялся выздороветь, и не хотелось ему

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) умереть; но возможность смерти он видел ясно и смотрел на нее прямо, не мигая глазами. Вот слова, которыми он заключает письмо свое к двоим из друзей своих в Петербурге: «Ну, теперь, милые мои, пришло сказать: прощайте – на долго ли? – не знаю. Но как-то это слово горько отозвалось в душе моей. Но еще – прощайте, и в третий раз прощайте. Если б я был женщина, хорошая бы пора плакать. Минута грусти, побудь хоть ты со мною подольше!»{39} А между тем все письмо проникнуто бодростию духа, надеждою и даже веселостию...

Но это выздоровление было только отсрочкой смерти. Для восстановления его здоровья нужно было прежде всего спокойствие, а между тем его ежедневно, ежеминутно оскорбляли, мучили, дразнили как дикого зверя в клетке{40}. Иногда ему не на что было купить лекарства; иногда у него не было ни чаю, ни сахара, ни свечей, а иногда мать его только украдкою от отца могла доставлять ему обед и ужин. Отец требовал, чтобы он жил вместе с ними, где ему не было бы покою ни на минуту. Он перешел на мезонин, который целую зиму не топился, – ему отказано было в дровах, и он добывал их по ночам, как вор. Узнавши об этом, ему обещали выгнать его по шее из дома... делать было нечего, и он перешел вниз. Раз в соседней комнате, у сестры его много было гостей, и они затеяли игру: поставили на середину комнаты стол, положили на него девушку, накрыли ее простынею и начали хором петь вечную память рабу божию Алексею... Это была невинная шутка...{41}

Вскоре последовала свадьба сестры{42}. «Все начало ходить и бегать через мою комнату; полы моют то и дело, а сырость для меня убийственна. Трубки, благовония курят каждый день; для моих расстроенных легких все это плохо. У меня опять образовалось воспаление, сначала в правом боку, потом в левом, противу сердца, довольно опасное и мучительное. И здесь-то я струсил не на шутку. Несколько дней жизнь висела на волоске. Лекарь мой, несмотря на то, что я ему очень мало платил, приезжал три раза в день. А в эту пору у нас вечеринки каждый день – шум, крик, беготня, двери до полночи в моей комнате ни минуты не стоят на петлях. Прошу не курить – курят больше; прошу не благовонить – больше; прошу не мыть полов – моют»{43}. Все это потом кое-как уладилось; свадьба кончилась; больной, для спасения жизни, прибег к хитрости и со всеми перемирился, попросивши у всех извинения за мерзости, которые с ним делали{44}; его оставили в покое, и он увидел себя точно в раю. «Я теперь, слава богу, живу покойно, смиро. Они меня не беспокоят. В комнате тишина; сам большой, сам старшой. С отцом вижусь редко; он меня не оскорбляет больше пока, и я им доволен. Обед готовят порядочный. Чай есть, сахар тоже, а мне пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше. Начал прохаживаться, и два раза был в театре. Лекарь уверяет, что я в пост не умру, а весной меня вылечит. Но сил, не только духовных, и физических еще нет; памяти тоже. Волоса начали расти; с лица зелень сошла, глаза чисты». В заключении письма, говоря о своем нравственном состоянии, он прибавляет: «Что если и выздоровевши, таким останусь? – Тогда прощайте, друзья, Москва и Петербург! Нет, дай господи умереть, а не дожить до этого полипного состояния. Или жить для жизни, или – марш на покой!»{45}

Мысль о переезде в Петербург с новою силою воскресала в нем, как скоро начинал он себя чувствовать лучше. Он только ждал для этого совершенного выздоровления. Но и тут внутри его происходила страшная борьба, которую мы перескажем его собственными словами. – «Как вы скажете: удерживаться ли в Воронеже дома, бросить ли все, ехать в Петербург. Удерживаться дома – жить мне будет плохое. Но все старик меня, как ни говори, а со двора не сгонит. У меня много здешь людей хороших, которым я еще ни слова. Про это знает лекарь и тот, у кого я жил на даче; скажи я им, они помогут. С стариком уладиться легко – жениться, и он будет ко мне хорош. Но зато, надо взять там, где ему будет угодно. Это значит пожертвовать собой, сгубить женщину и себя. Ехать в Питер – он не даст ни гроша. Ну, положим, я найдусь туда приехать; у меня есть вещей рублей на триста; этого достаточно. Но приехавши туда, что я буду делать? Наняться в прикащики? не могу; от себя заниматься? – не на что. Положить надежду на мои стишонки: что за них дадут! И что буду за них получать в год – пустяки: на сапоги, на чай, и только. Талант мой – надо говорить правду – особенно теперь, в решительное время, талант мой пустой. Несколько песенок в год – дрянь. За них много не дадут. Писать в прозе не умею, а мне тридцать три года. Вот мое положение. Пожалуйста напиши мне ваше мнение; я им дорожу более всего. – В. Г. пишет: ехать. Да боюсь, страшно. Я, живя на свете, хорошего не видал, или видел, да немнogo, да и то живя в Москве и Питере, а в Воронеже, не помню когда. Что, если в сорок лет придется нищенствовать? – Плохо!»{46}

Последнее письмо, которое мы получили от Кольцова, было от 27-го февраля 1842

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) года{47}. Летом мы писали к нему, но ответа не было; а осенью получили мы из Воронежа, от незнакомых нам людей, известие о его смерти... Поэтому подробностей о последнем времени его жизни мы не знаем, и только можем предполагать, что это была продолжительная агония, страдание, мученичество... Он умер 19 октября 1842 года, в три часа пополудни, на тридцать четвертом году от рождения{48}.

Такова была жизнь этого человека! Рожденный для жизни, он исполнен был необыкновенных сил и для наслаждения ею и для борьбы с нею; а жить для него значило – чувствовать и мыслить, стремиться и познавать. Любовь и симпатия были основою стихией его натуры. Он был слишком умен, чтоб быть в любви идеалистом, и был слишком деликатно и благородно создан, чтоб быть в ней материалистов. Грубая чувственность могла увлекать его, но не надолго, и он умел отрешаться от нее, не столько силою воли, сколько природным отвращением ко всему грубому и низкому. Нежным вздохателем, довольствующимся обожанием своего идеала, он никогда не был и не мог быть, потому что для такой смешной роли он был слишком умен и слишком одарен жизнью и страстью. Женщина никогда не была в его глазах бесплотным идеалом, эфирною мечтою, туманным образом, таинственным видением неведомого мира; но в то же время он умел понимать ее поэтически; видел в ней существо родное мужчине, следовательно, подобно ему, земное, и тем более прекрасное, и поклонялся в ней красоте, грации, жизни, чувству, могуществу страсти. Но вполне обаять и покорить эту сильную натуру могла только женщина с сильным характером, которой страсти и воля не останавливались перед деревянным болваном общественного мнения, перед лицемерным судом безнравственных моралистов, глупых умников и невежественных глупцов{49}. И вот почему его последняя любовь совершенно изгладила в его сердце все скорбные воспоминания первой, и ему казалось, что он любит только в первый раз... Он не мог наслаждаться без чувства, без раздела, но когда его страсти отвечала страсть – он предавался ей и ее наслаждениям со всем самозабвением, со всею стремительностью натуры пламенной и сильной, думая не о последствиях, а только о том, что «живь нам на свете не дважды!..»

В дружбе он не знал расчета и эгоизма. Грубая и грязная действительность, в среду которой втолкнула его судьба, как неизбежной жертвы, требовала от него и поклонов, и унижения, и лжи, и всех изворотов мелкого торгащества; но он и тут умел сохранить свое человеческое достоинство и всегда держаться неизмеримо выше людей своего сословия, находящихся в таком же положении. Внутренно он всегда оставался чист от этой грязи и ничего из нее не внес в задушевный мир своей жизни. Всегда готовый одолжить близкого человека, он избегал всякого случая одолжиться им: его пугала одна мысль внести расчет в чистоту дружественных отношений, и с этой стороны, он доходил до ребячества. Как все люди с глубоким чувством, он больше всего боялся сделать из чувства комедию, и потому медленно и робко сходился с человеком; но раз сблизившись, он умел любить, умел быть преданным без уверений и фраз. Увы! эта сила любви и привязанности больше всего и сгубила его. Мы уже говорили, как, года за полтора перед смертью, вдалеке от тех, которые понимали и любили его, он видел себя в кругу диких невежд, которые уже не нуждались в нем и потому поспешили снять с себя маску родственной любви и отомстить ему за его превосходство над ними. Как ни тяжело было подобное разочарование, но у Кольцова всегда стало бы силы перенести его, тем более что он никогда не дорожил особенно связями крови без связи духа; да, у него стало бы силы ответить презрением на подлость и предательство, порожденные ограниченностию и невежеством. Но сила изменила ему, когда ко всему этому – и к болезни, и к нужде, и к черной неблагодарности за услуги, ему пришлось еще горько разочароваться в тех дорогих и нежных отношениях, где, по его мнению, связь крови была скреплена связью духа{50}, и когда тут, за свою любовь, дружбу и преданность, он вдруг и неожиданно увидел вражду, ненависть, неблагодарность, предательство, и все это в форме грязной, наглой, бесстыдной... Тут все было оскорблено в нем – и благороднейшие, святейшие чувства его сердца, и его самолюбие: ему горько было убедиться, что его так долго и так коварно обманывали и что бисер души своей он бросал под ноги нечистым животным...

Говорят, будто любящее Сердце, ум, талант и всякое превосходство над людьми есть страшный дар природы, род проклятия, изрекаемого судьбою над человеком избранным, в самую минуту его рождения... Говорят, будто несчастием, и страданиями целой жизни избранник должен расплатиться за дерзкую привилегию быть выше других... И все это доказывают примерами из жизни людей замечательных... Но справедливо ли такое мнение, и должна ли жизнь быть мачехою в отношении к любимейшим детям природы?.. О, нет! эта вражда жизни с природою отнюдь не есть закон разумной необходимости, но есть только результат несовершенства

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) человеческих обществ. Избранный человек более, чем всякий другой, рождается для жизни и наслаждения ею, – и не жизнь, а общество виновато в том, что, едва родившись, он с боем должен брать даже самый воздух, чтоб ему можно было дышать... В своем семействе, где, кажется, естественная любовь должна была бы стоять на страже его детства и лелеять его, – в своем семействе прежде всего встречает он, с ужасом и отвращением, чудовищный образ общества, которое в человеке не хочет признавать человека, но видит в нем только породу и касту или смотрит на него, только как на работника, как на живой капитал, с которого никогда можно будет брать проценты... Семейство, узы крови: что вы, если не бичи и цепи там, где полуидиотское и невежественное общество еще «в колыбели встречает человека в виде патриархального логовища, глава которого есть степной деспот с нагайкой в руке, «самолюбивый, упрямый, хвастун без совести, не любит жить с другими в доме человечески, а любит, чтобы все перед ним трепетало, боялось и рабствовало?..»{51}

Мы уже говорили, что Кольцов нисколько не заносился своим талантом. Он живо чувствовал недостаток своего образования. «Будь человек и гениальный (говорит он в одном письме), а не умей грамоте – не прочтешь и вздорной сказки. На всякое дело надо иметь полные способы. Прежде я-таки, грешный человек, думал о себе и то и то, а теперь кровь как угомонилась, так и осталось одно желание в душе – учиться. И думаю, что это хлеб прочный, и его мне надолго станет; а там что бог даст. Вас же прошу об одном: все дурные пьесы бросайте без внимания, а какие нравятся, те печатайте»{52}. Люди обыкновенно не столько наслаждаются тем, что им дано, сколько горюют о том, чего им не дано; притом они мало ценят то, что дается им без труда, и видят верх совершенства только в том, что добывается потом, и кровью. Кольцова особенно огорчало то, что ему не далаась проза, которая, по его выражению, «с ним еще при рождении разошлась самым неблагородным образом»{53}. В 1840 году наш знаменитый трагический актер, г. Мочалов, посетил Воронеж и давал представления на тамошнем театре. Кольцову, горячо любившему г. Мочалова, как художника и как человека, очень хотелось написать что-нибудь для журнала о его представлениях; но он, разумеется, не решился и попробовать. Досада его очень наивно излилась в письме к приятелю: «Глупое положение нашей братьи-рифмачей! Вот теперь и хочется написать статейку о Павле Степановиче, а чертовские размеры не дают ходу прозе и велят молчать»{54}. Отделаться от мелочной торговли и на свободе предаться учению было любимейшою мечтою всей жизни Кольцова. Не имея ясного понятия о науках, он хотел учиться всему – и тому, чему бы мог и должен был учиться, и тому, чему не мог и не должен был; но сквозь этот хаос темных представлений о науке ясно было видно, что если бы он и не мог заняться историей, как наукой, то с жаром и страстью предался бы чтению преимущественно исторических сочинений. Он желал учиться и языкам; но для осуществления всех этих проектов его время прошло, и все, что оставалось для него – это предаться с упоением чтению всего, что мог он найти лучшего на русском языке. Приобретение книг было счастием и радостию его жизни. «Вы не можете представить (писал он в 1840 году к приятелю), какой богач я стал хорошими книгами. Есть что читать! Ваш подарок получил; «Отечественные записки», «Современник» тоже; от Губера получил «Фауста», от Владиславлева – «Утреннюю зарю»; купил полное собрание сочинений Пушкина, «Историю философских систем!» Галича: мне ее наши бурсаки сильно расхвалили; прочел первую часть – вовсе ничего не понял. Разве философия – другое дело? Может быть и так; будем читать еще до конца. Теперь один недостаток оказался: надоменно непременно обзавестись историей Карамзина; у меня есть Полевого и Ишимовой краткие, да хочется иметь полную, да опер несколько»{55}. Как человек необразованный, или, лучше сказать, как полуобразованный самоучка, Кольцов некоторые из лучших своих песен хотел назвать русскими балладами, думая этим возвысить их. Не из этого ли источника происходило и его страстное желание написать либретто для оперы – дело, к которому он едва ли был способен? Другое дело – к готовому, но голому драматическому очерку написать арии, разумеется, вроде его русских песен: это он мог бы выполнить прекрасно, и может быть, этого-то и хотелось ему. Как бы то ни было, но оперные либретто на русском языке он собирал с жадностью. Из другого, более истинного и глубокого источника выходило у него страстное желание путешествовать по России. Это было тоже любимейшою его мечтою, которой, как и многим другим, не суждено было осуществиться.

Как человеку не только с истинным, но еще и с большим талантом, Кольцову знакомы были горькие минуты разочарования в своем поэтическом призвании. Не зная, что всякому мастеру часто всего труднее быть судьею собственных произведений, он думал, что у него вовсе нет эстетического вкуса. Так писал он раз к одному из своих друзей об одной из лучших своих пьес: «Чорт знает, иногда прочтешь

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru)  
«Хуторок» – покажется, а иногда разорвать хочется». В другой раз он писал:  
«Сколько я ни бьюся с самим собою, но все эстетическое чувство не управляет  
мною, не обладаю им я, как бы хотелось – хоть ляг, да умри»{56}.

Стихотворения Кольцова можно разделить на три разряда. К первому относятся пьесы, писанные правильным размером, преимущественно ямбом и хореем. Большая часть их принадлежит к первым его опытам, и в них он был подражателем поэтов, наиболее ему нравившихся. Таковы пьесы: «Сирота», «Ровеснику», «Маленькому брату», «Ночлег чумаков», «Путник», «Красавица», «Сестре», «Приди ко мне», «Разуверение», «Не мне внимать напев волшебный», «Мщение», «Вздох на могиле Веневитинова», «К реке Гайдаре», «Что значу я», «Утешение», «Я был у ней», «Первая любовь», «К ней», «К ней же», «Наяда», «К Н.», «Соловей», «К другу», «Исступление», «Поэт и няня», «А. П. Серебрянскому». В этих стихотворениях проглядывает что-то похожее на талант и даже оригинальность; некоторые из них даже очень недурны. По крайней мере, из них видно, что Кольцов и в этом роде поэзии мог бы усовершенствоваться до известной степени; но не иначе, как с трудом и усилием выработавши себе стих и оставаясь подражателем, с некоторым только оттенком оригинальности. Правильный стих не был его достоянием, и как бы ни выработал *<он>* его, все-таки никогда бы не сравнялся в нем с нашими звучными поэтами даже средней руки. Но здесь и виден сильный, самостоятельный талант Кольцова: он не остановился на этом сомнительном успехе, но, движимый одним инстинктом своим, скоро нашел свою настоящую дорогу. С 1831 года он решительно обратился к русским песням, и если писал иногда правильным размером, то уже без всяких претензий на особенный успех, без всякого желания подражать или состязаться с другими поэтами. Особенно любил этим размером, чаще без рифмы, с которой он плохо ладил, выражать ощущения и мысли, имевшие непосредственное отношение к его жизни. Таковы (за исключением пьес: «Цветок», «Бедный призрак», «Товарищ») пьесы: «Последняя борьба», «К милой», «Примирение», «Мир музыки», «Не разливай волшебных звуков», «К \*\*\*», «Вопль страдания», «Звезда», «На новый 1842 год». Пьесы же: «Очи, очи голубые», «Размолвка», «Люди добрые, скажите», «Терем», «По-над Доном сад цветет», «Совет старца», «Глаза», «Домик лесника», «Женитьба Павла» – составляют переход от подражательных опытов Кольцова к его настоящему роду – русской песне.

В русских песнях талант Кольцова выразился во всей своей полноте и силе. Рано почувствовал он бессознательное стремление выражать свои чувства складом русской песни, которая так очаровывала его в устах простого народа; но его удерживала от этого мысль, что русская песня – не поэзия, а что-то простонародное, грубое и вульгарное. К счастию, ему попалась в руки книжка стихотворений барона Дельвига (изданная в 1829 году). Каково же было его удовольствие, его радость, когда в этой книжке он увидел между «настоящими» стихотворениями и русские песни! Он сейчас смекнул, в чем дело, и порешил его таким силлогизмом: барон – ведь это барин, да еще большой, все равно, что граф или князь, и верно, он ученый человек; но он сочиняет же русские песни: стало быть, русская песня не вздор, не глупость, а тоже – поэзия... И с тех пор он все больше и больше начал наклоняться к этому роду поэзии. Первые песни, как написанные им еще до знакомства с песнями Дельвига, так и многие, написанные до 1835 года, были чем-то средним между романсом и русскою песнею и потому походили на русские песни то Дельвига, то Мерзлякова. Но еще с 1830 года ему уже удавалось иногда выражать в русской песне всю оригинальность своего таланта, и пьесам: «Кольцо», «Удалец», «Крестьянская пирушка», «Размышление» поселянина» (1830–1832), недостает только зрелости мысли, чтоб быть образцами в своем роде произведениями. Но о песен «Ты не пой, соловей» (1830){57} и «Не шуми ты, рожь» (1834) начинается ряд русских песен, как особого рода, созданного Кользовым.

Для означения различных степеней дара творчества употребляются большою частию два слова: талант и гений. Под первым разумеется низшая, под вторым – высшая степень способности творить. Но такое разделение довольно неопределенно: оно не дает меры (критериума) для определения высоты художественной силы. Правда, талант и гений отличаются друг от друга тем, что первый ниже второго, а второй выше первого; но чем же именно ниже или выше – вот вопрос! Одно из главнейших и существеннейших качеств гения есть, оригинальность и самобытность, потом всеобщность и глубина его идей и идеалов, и, наконец, историческое влияние их на эпоху, в которую он живет. Гений всегда открывает своими творениями новый, никому до него не известный, никем не подозреваемый мир действительности. Толпа живет и движется, но бессознательно; переживши известный исторический момент и уже нося в самой себе все элементы нового существования, она тем упорнее держится форм старого. Является гений – и возвещает людям новую жизнь, начала

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) которой они уже носили в себе и корень которой скрывался уже в самом прошедшем. Но толпа не признает своего участия в деле гения; дико и враждебно смотрит она на новый мир мысли и формы, открывающейся в его творениях, и только немногие берут его сторону, и только новые поколения упрочивают за ним победу. Имя гения – миллион, потому что в груди своей носит он страдания, радости, надежды и стремления миллионов. И вот в чем заключается всеобщность его идей и идеалов: они касаются всех, они всем нужны, они существуют не для избранных, не для того или другого сословия, но для целого народа, а через него и для всего человечества. Частность и исключительность, напротив, есть достояние таланта, – и потому бывают таланты, произведения которых нравятся или только веселым и счастливым, или только меланхоликам и несчастным, или только образованным классам общества, или только низшим слоям его, и т. д. Есть люди, которые нечаянно открывали в себе талант через какой-нибудь внешний и случайный толчок: один оттого, что ослеп, другой оттого, что лишился любимой им женщины, третий оттого, что пострадал за правое дело или за преступление, в котором был невинен, и т. д. Без этих случайностей все эти люди никогда не сделались бы поэтами. Естественно, что каждый из них поет на один и тот же лад и всегда одно и то же, и потому нравится только людям, которые одинаково с ним настроены и находят в его произведениях отголоски своих личных ощущений или применения к обстоятельствам своей жизни. Отсутствие оригинальности и самобытности всегда есть характеристический признак таланта: он живет не своею, а чужою жизнию, его вдохновение есть не что иное, как «пленной мысли раздраженье» – мысли, захваченной у гения или подслушанной у самой толпы. Талант не управляет толпою, а льстит ей, не утверждает даже новой моды, а идет за модою; куда дует ветер, туда и стремится он. Поди он против – и его сейчас забудут, а этого-то он и боится больше всего на свете. Иногда он кажется оригинальным и, в свою очередь, порождает толпу подражателей; но эта оригинальность тотчас исчезает, как скоро привыкнут и приглядятся к ней, и оказывается или результатом чуждого влияния, или проявлением дурного вкуса эпохи; а толпа подражателей доказывает только то, что и талант имеет степени, и менее талантливые подражают более талантливому.

Очевидно, что гений и талант суть только крайние степени, противоположные полюсы творческой силы, и что между ними должно быть что-нибудь среднее. В самом деле, иначе мир искусства был бы очень скучен, состоя из одних гениальных творений, окруженных развалинами эфемерных произведений таланта. Напротив, во всех сферах человеческой деятельности история сохранила имена людей, которые не были гениями, не были полномочными властелинами своего времени, но тем не менее имели на него свое действительное влияние, и потому заняли хотя и второстепенные, но почетные места в благодарной памяти потомства. В сфере искусства таких людей называют большими или великими талантами в отличие от гениев и от обыкновенных талантов. Но это название довольно неопределенно. Мы думаем, к таким людям лучше бы шло название гениальных талантов, как выражющее и их сродство с гением и с талантом, и ту средину, которую они занимают между тем и другим.

Но слова ничего не значат, если не выражают идеи, доказывающей их необходимость и действительность. И потому мы должны оправдать употребленное нами выражение «гениального таланта», показавши его отношение к «гению» и «таланту». Гениальный талант отличается от обыкновенного таланта тем, что, подобно гению, живет собственною жизнию, творит свободно, а не подражательно, и на свои творения налагает печать оригинальности и самобытности со стороны как содержания, так и формы. От гения же он отличается объемом своего содержания, которое у него бывает менее обще и более частно. И потому гений есть полный властелин своего времени, которое носит на себе его имя, – тогда как влияние гениального таланта, как бы оно ни было сильно, всегда простирается только на одну какую-нибудь сторону искусства и жизни. Другими словами: гений захватывает и наполняет собою целую область современной ему действительности, гениальный талант – один уголок ее. Что в гении составляет полноту его существования, то в гениальном таланте есть как бы отблеск гения. Но сходное и общее между ними, несмотря на всю огромность разделяющего их пространства, – это та оригинальность и самобытность, которая порождает множество подражателей, но ни одного самостоятельного таланта, которой можно подражать, но которой невозможно усвоить. И вот где существенное отличие гениального таланта от обыкновенного. Последний есть не более, как посредник между гением и толпою, род фактора, необходимого для облегчения сношений между ними: невольно увлекаясь идеями гения, он их совлекает с их высокого, недоступного толпе пьедестала и тем самым приближает их к разумению толпы. Под рукою таланта идеи гения, так сказать, мельчают и опошиваются, но этим самым они и делаются популярными, становятся всем доступными и каждому известными. И потому талант совершаet великое дело; но в этом случае он делается

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) жертвой собственного успеха: по мере того, как он более и более знакомит и сближает толпу с гением, добродушно думая знакомить и сближать ее только с самим собою, толпа все более и более отворачивается от него, обращаясь все более и более к самому гению, непосредственные сношения с которым стали для нее уже возможными и доступными. Сделавши свое дело, таланты (потому что для такого дела одного таланта мало, а нужна толпа талантов) забываются: имена их остаются в истории литературы, но сочинения предаются более или менее полному забвению.

Но мы все-таки еще не сказали последнего олова о существенном различии между гениальным и обыкновенным талантом. Оно заключается в тайне натуры человека. В человеке, владеющем обыкновенным талантом, талант есть сила абстрактная, род капитала, который принадлежит своему владельцу, но который – не одно с ним. Продолжим наше сравнение. Потерявши капитал, можно нажить другой: капитал – внешнее средство для жизни, но не сама жизнь. Как часто видим мы людей, которые, долгое время пользовавшись огромной известностью своего таланта, пережили свой талант и свою известность и которые, несмотря на то, сумели вознаградить себя другими благами жизни: приобрели большие чины или большие деньги и прекрасно живут себе без таланта и без славы. Не таков человек, одаренный гениальным талантом: его нельзя отделить от его таланта, его талант: – его жизнь, его кровь, его дух, его плоть, биение его сердца, дыхание его груди, словом – весь он сам. Это роковая сила, которая всегда будет мчать его к одной цели, к одной деятельности, наперекор судьбе, рождению, воспитанию, всем внешним обстоятельствам его жизни, как бы ни были они сильны. Он страстен к славе и очень не чужд самолюбия; но еще не в этом только источник его ничем неудержимого стремления к творчеству: оно у него – инстинкт, натура, страсть. В отношении к своему призванию он смело может сказать о себе:

Я знал одной лишь думы власть,  
Одну, но пламенную страсть:  
Она, как червь, во мне жила.  
Изгрызла душу и сожгла.

Я эту страсть во тьме ночной  
Вскормил слезами и тоской;  
Ее пред небом и землей  
Я ныне громко признаю  
И о прощеньи не молю.{58}

Сила гениального таланта основана на живом, неразрывном единстве человека с поэтом. Тут замечательность таланта происходит от замечательности человека, как личности, как натуры; тогда как обыкновенный талант отнюдь не условливает собою необыкновенного человека: тут человек и талант – каждый сам по себе, и человек, в отношении к таланту, есть то же, что ящик в отношении к деньгам, которые в нем лежат. Сильная и богатая натура всегда отличается от натур обыкновенных, никогда на них не похожа, всегда оригинальна, – и удивительно ли, если печать этой оригинальности налагает она и на свои творения? Самобытность поэтических произведений есть отражение самобытности создавшей их личности.

У всякого человека есть лицо, следовательно, всякий человек есть личность; и однако же в человеческом роде гораздо больше существ неопределенных, бесцветных, бесхарактерных, следовательно, безличных, нежели существ с резким выражением особности. Лицо есть выражение, душа человека; но ведь есть лица, которых нельзя забыть, раз увидевши, и есть лица, которые видишь беспрестанно целые годы, и забываешь, не видя неделю. Следовательно, личность имеет свои степени и свою постепенность. Чем общее, тем ничтожнее она; чем более поражает оригинальностию, тем она выше. Поэтому гений есть высочайшее развитие личности. Тайну гения составляет собственно не ум: ум, и часто весьма замечательный, бывает и у обыкновенных людей; не талант: талант, и притом весьма замечательный, часто бывает и у обыкновенных людей; не сердце: оно тоже, и очень часто, бывает уделом людей обыкновенных. Нет, тайна гения заключается больше всего в какой-то непосредственной творческой способности вдохновения, похожего на откровение и составляющего тайну личности человека. Это что-то так же неуловимое и невыразимое словом, как выражение физиологии, как органическая жизнь. Нам известны средства жизни, ее органы, их отправления; но физиологическая жизнь все-таки для нас тайна. Мы не можем выразить сущности гения, но всегда верно чувствуем преобладающее над нами влияние не только гения, но и всякой сколько-нибудь высшей нас личности. Иногда гениальная личность, обделенная образованием и не подозревающая своего значения, с смирением и о робостью подходит к человеку обыкновенному, но образованному, развитому и учением и

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) светскую жизнью; но дело всегда оканчивается тем, что первая незаметно берет верх над последним, и обыкновенный человек, в присутствии гениального невежды, как-то невольно делается осторожным, как бы боясь проговориться. Вот что значит личность, натура, – и талант тогда только бывает плодотворен и живуч, когда он тесно соединен с личностью, с натурою человека. И вот почему иногда бывают люди с талантом, не имея ни ума, ни сердца: это таланты обыкновенные, которые могут существовать без связи с личностью и натурою человека.

Когда талант в человеке есть не просто внешняя сила производить на основании увлечения самобытными образцами, но выражение внутренней сущности человека, его личности, его натуры – тогда, каков бы ни был объем этого таланта, но он уже сила творческая, зиждительная, следовательно, в нем уже заключается искра гениальности, – и если, по его объему, его нельзя назвать «гением», то можно и должно назвать «гениальным талантом».

К числу таких талантов принадлежит и талант Кольцова.

Пока сочинения Кольцова были разбросаны по разным периодическим изданиям, подобное заключение о его таланте не без основания могло бы показаться несколько преувеличенным; но теперь, когда все написанное им собрано в одной книге и наше мнение может быть поверенным, мы смело выговариваем его не как просто мнение, но как глубокое и обдуманное убеждение.

Кроме песен, созданных самим народом и потому называющихся «народными», до Кольцова, у нас не было художественных народных песен, хотя многие русские поэты и пробовали свои силы в этом роде, а Мерзляков и Дельвиг даже приобрели себе большую известность своими русскими песнями, за которыми публика охотно утвердила титул «народных». В самом деле, в песнях Мерзлякова попадаются иногда места, в которых он удачно подражает народным мелодиям, и вообще он по этой части сделал все, что может сделать талант. Но несмотря на то, в целом его русские песни не что иное, как романсы, пропетые на русский народный мотив. В них виден барин, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что же касается до русских песен Дельвига – это уже решительные романсы, в которых русского – одни слова. Это чистая подделка, в которой роль русского крестьянина играл даже и не совсем русский, а скорее немецкий, или, еще ближе к делу, итальянский барин. Мерзляков по крайней мере перенес в свои русские песни русскую грусть-тоску, русское гореванье, от которого щемит сердце и захватывает дух. В песнях Дельвига нет ничего, кроме сладенько любезничанья и сладенькой задумчивости, следовательно, нет ничего русского. Впрочем, наше мнение о песнях Мерзлякова клонится не к унижению его таланта, весьма замечательного; но мы хотим только сказать, что русские песни мог создать только русский человек, сын народа, в таком смысле, в каком и сам Пушкин не был и не мог быть русским человеком по причине резкого разрыва, произведенного реформой Петра Великого, между образованными классами русского общества и массою народа. В пьесах Пушкина, содержание которых взято из народной жизни и выражено в народной форме, видна душа глубоко русская, но в то же время видна и та художественная объективность, которая делала для Пушкина возможным быть как у себя дома во всех сферах жизни, даже самых противоположных друг другу, и благодаря которой он в «Каменном госте» изобразил природу и нравы Испании с такою же поразительной верностию, как в «Русалке» изобразил природу и нравы Руси времен уделов. Сверх того, в этой «Русалке», если внимательнее прислушаться к ее звукам, приглядеться к ее колориту, нельзя не открыть в ней примеси поэтических элементов, более обруссенных поэтом, если можно так выразиться, нежели чисто русских. Сейчас видно, что эта пьеса писана поэтом, который образован европейски и который без этого обстоятельства не мог бы написать ее так. Не таков мир русских песен Кольцова: в них и содержание и форма чисто русские, – и несмотря на всю объективность своего гения, Пушкин не мог бы написать ни одной песни вроде Кольцова, потому что Кольцов один и безраздельно владел тайною этой песни. Этюю песнею он создал свой особенный, только одному ему довлевший мир, в котором и сам Пушкин не мог бы с ним соперничествовать, но не по недостатку таланта, а потому, что мир песни Кольцова требует всего человека, а для Пушкина, как для гения, этот мир был бы слишком тесен и мал и потому мог входить только как элемент в огромный и необъятный мир пушкинской поэзии.

Кольцов родился для поэзии, которую он создал. Он был сыном народа в полном значении этого слова. Быт, среди которого он воспитался и вырос, был тот же крестьянский быт, хотя несколько и выше его. Кольцов вырос среди степей и мужиков. Он не для фразы, не для красного словца, не воображением, не мечтою,

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) душою, сердцем, кровью любил русскую природу и все хорошее и прекрасное, что, как зародыш, как возможность, живет в натуре русского селянина. Не на словах, а на деле сочувствовал он простому народу в его горестях, радостях и наслаждениях. Он знал его быт, его нужды, горе и радость, прозу и поэзию его жизни, – знал их не понаслышке, не из книг, не через изучение, а потому, что сам, и по своей натуре и по своему положению, был вполне русский человек. Он носил в себе все элементы русского духа, в особенности страшную силу в страдании и в наслаждении, способность бешено предаваться и печали и веселию и вместо того, чтобы падать под бременем самого отчаяния, способность находить в нем какое-то буйное, удалое, – размашистое упоение, а если уже пасть, то спокойно, с полным сознанием своего падения, не прибегая к ложным утешениям, не ища спасения в том, чего не нужно было ему в его лучшие дни. В одной из своих песен он жалуется, что у него нет воли,

Чтоб в чужой стороне  
На людей поглядеть;  
Чтоб порой пред бедой  
За себя постоять;  
Под грозой роковой  
Назад шагу не дать;  
И чтоб с горем, в пиру,  
Быть с веселым лицом;  
На погибель итти –  
Песни петь соловьем.{59}

Нет, в том не могло не быть такой воли, кто в столь мощных образах мог выразить свою тоску по такой воле...

Нельзя было теснее слить своей жизни с жизнию народа, как это само собою сделалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спелым колосом, и на чужую ниву смотрел он с любовию крестьянина, который смотрит на свое поле, орошенное его собственным потом. Кольцов не был земледельцем, но урожай был для него светлым праздником: прочтите его «Песню пахаря» и «Урожай». Сколько сочувствия к крестьянскому быту в его «Крестьянской пирушке» и в песне «Что ты спишишь, мужичок»:

Что ты спишишь, мужичок!  
Ведь уж лето прошло,  
Ведь уж осень на двор  
Через прясло глядит;  
Вслед за нею зима  
В теплой шубе идет,  
Путь снежком порошит,  
Под санями хрустит.  
Все соседи на них  
Хлеб везут, продают,  
Собирают казну,  
Бражку ковшиком пьют.

Кольцов знал и любил крестьянский быт так, как он есть на самом деле, не украшая и не поэтизируя его. Поэзию этого быта нашел он в самом этом быте, а не в риторике, не в пийтике, не в мечте, даже не в фантазии своей, которая давала ему только образы для выражения уже данного ему действительностию содержания. И потому в его песни смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи – и вся эта грязь превратилась у него в чистое золото поэзии. Любовь играет в его песнях большую, но далеко не исключительную роль: нет, в них вошли и другие, может быть, еще более общие элементы, из которых слагается русский простонародный быт. Мотив многих его песен составляет то нужда и бедность, то борьба из копейки, то прожитое счастье, то жалобы на судьбу-мачеху. В одной песне крестьянин садится за стол, чтобы подумать, как ему жить одинокому; в другой выражено раздумье крестьянина, на что ему решиться – жить ли в чужих людях, или дома – браниться с стариком-отцом, рассказывать ребятишкам сказки, ботеть, стереться. Так, говорит он, хоть оно и не тово, но уж так бы и быть, да кто пойдет за нищего? «Где избыток мой зарыт лежит?» И это раздумье разрешается в саркастическую русскую иронию:

Куда глянешь, – всюду наша степь,  
На горах – леса, сады, дома;  
На дне моря – груды золота,  
Облака идут – наряд несут!..{60}

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru)  
Но если где идет дело о горе и отчаянии русского человека – там поэзия Кольцова  
доходит до высокого, там обнаруживает она страшную силу выражения, поразительное  
могущество образов.

Пала грусть-тоска тяжелая  
На кручинную головушку;  
Мучит душу мука смертная,  
Вон из тела душа просится.  
И какая вместе с тем сила духа и воли в самом отчаянии:

В ночь, под бурей, я коня седлал,  
Без дороги в путь отправился –  
Горе мыкать, жизнью тешиться,  
С злую долей переведаться...

И после этой песни («Измена суженой») прочтите песню «Ах, зачем меня» – какая разница! Там буря отчаяния сильной мужской души, мощно опирающейся на самое себя; здесь грустное воркование горлицы, глубокая, раздирающая душу жалоба нежной женской души, осужденной на безвыходное страдание.

Когда форма есть выражение содержания, она связана с ним так тесно, что отделить ее от содержания, значит уничтожить самое содержание; и наоборот: отделить содержание от формы, значит уничтожить форму. Это живая связь, или лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи с формою и формы с идею бывает достоянием только одной гениальности. Простой талант всегда опирается или преимущественно на содержание, и тогда его произведения не долговечны со стороны формы, или преимущественно блестит формою, и тогда его произведения эфемерны со стороны содержания; но главное, и в том и в другом случае богатые мыслию или щеголяющие внешнею красотою, они лишены оригинальности формы, свидетельствующей о самобытности мысли. Здесь-то всего яснее и открывается, что обыкновенный талант основан на способности подражания, на способности увлечения образцами, и в этом заключается причина недолговечности, а чаще всего и эфемерности таланта. И потому оригинальность есть не случайное, но необходимое свойство гениальности, есть черта, которая отделяет гениальность от простой талантливости или даровитости. Но эта оригинальность, прежде всего поражающая читателя в языке поэта, не должна быть искусственною или изысканною: тогда она увлекает только на минуту и потом тем более делается предметом осмеяния и презрения, чем больше сперва имела успеха. Поэт должен быть оригинален, сам не зная как, и если должен о чем-нибудь заботиться, так это не об оригинальности, а об истине выражения: оригинальность придет сама собою, если в таланте поэта есть гениальность. Истинная оригинальность в изобретении, а следовательно, и в форме, возможна только при верности поэта действительности и истине.

Такою оригинальностию Кольцов обладал в высшей степени. С этой стороны его песни смело можно равнять с баснями Крылова. Даже русские песни, созданные народом, не могут равняться с песнями Кольцова в богатстве языка и образов, чисто русских. Это естественно: в народных песнях заключаются только элементы народного духа и поэзии, но в них нет художественности, под которую должно разуметь целость, единство, полноту, оконченность и выдержанность мысли и формы. Многие русские песни имеют значение только в пении, а в чтении почти, или и вовсе, лишены смысла; другие при богатстве наивных поэтических образов не чужды прозаических выражений и слабых мест, и только очень немногие, и то не вполне, удовлетворяют более или менее богатством содержания при силе выражения. Из поэтов только Мерзляков, л то в одной только песне, и то не вполне, умел приблизиться к языку народному без изысканности, народному не внешним только образом, но и внутренно; умел сохранить силу чувства и избежать будуарной сентиментальности романса – в песне: «Чернобровый, черноглазый». По крайней мере следующие стихи из этой песни нельзя не признать удивительными.

Воет сыр-бор за горою,  
Метелица в поле;  
Встало вьюга, непогода,  
Запала дорога...{61}

Кольцов, напротив, никогда не проговаривается против народности ни в чувстве, ни в выражении. Чувство его всегда глубоко, сильно, мощно и никогда не впадает в сентиментальность, даже и там, где оно становится нежным и трогательным. В выражении он также верен русскому духу. Даже в слабых его песнях никогда не найдете фальшивого русского выражения; но лучшие его песни представляют собою изумительное богатство самых роскошных, самых оригинальных образов в высшей

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) степени русской поэзии. С этой стороны язык его столько же удивителен, сколько и неподражаем. Где, у кого, кроме Кольцова, найдете вы такие обороты, выражения и образы, какими, например, усыпаны, так сказать, две песни Лихача Кудрявича? У кого, кроме Кольцова, можно встретить такие стихи:

Грудь белая волнуется,  
Что реченька глубокая –  
Песку со дна не выкинет.  
В лице огонь, в глазах туман...  
Смеркает степь, горит заря...  
На гумне – ни снопа,  
В закромах – ни зерна:  
На дворе, по траве,  
Хоть шаром покати.  
Из клетей домовой  
Сор метлою посмел  
И лошадок, за долг,  
По соседям развел.  
Иль у сокола  
Крылья связаны,  
Иль пути ему  
Все заказаны?  
Не держи ж, пусти, дай волюшку  
Там опять мне жить, где хочется,  
Без талана – где таланится,  
Молодым кудрям счастливится.  
Отчего ж на свет  
Глядеть хочется,  
Облететь его  
Душа просится?{62}

Мы не выбирали этих отрывков, но брали, что прежде попадалось на глаза. Выписывать все хорошее, значило бы большую часть пьес Кольцова в одной и той же книге напечатать вдвойне. И потому мы не войдем в подробный разбор отдельных пьес. Скажем просто: если бы Кольцов написал только такие пьесы, как «Совет старца», «Крестьянская пирушка», «Размышление поселянина», «два прощания», «Размолвка», «Кольцо», «Песня старика», «Не шуми ты, рожь», «Удалец», «Ты не пой, соловей», «Песня пахаря», «Не на радость, не на счастье», «Всякому свой талан», две песни о Грозном, «Я любила его», «Что он ходит за мной», «Нынче ночью к себе», – и тогда в его таланте нельзя было бы не признать чего-то необыкновенного. Но что же сказать о таких пьесах, как «Урожай», «Молодая жница», «Косарь», «Раздумье селянина», «Горькая доля», «Пора любви», «Последний поцелуй», «В поле ветер веет», «Песня разбойника», «Тоска по воле», «Говорил мне друг прощаюсь», «Без ума, без разума», «Разлука», «Расчет с жизнью», «Перепутье», «Дуют ветры», «Грусть девушки», «Доля бедняка», «Ты прости-прощай», «Рассступитесь, леса темные», «Как здоров да молод»? – Такие пьесы громко говорят сами за себя, и кто бы не увидал в них огромного таланта, с тем нечего и слов тратить – с слепыми о цветах не рассуждают. Что же касается до пьес: «Лес» (посвященный памяти Пушкина), две песни Лихача Кудрявича, «Ах, зачем меня», «Измена суженой», «Деревенская беда», «Бегство», «Путь», «Что ты спиши, мужичок», «В непогоду ветер», «Дума сокола», «Светит солнышко», «Так и рвется душа», «Много есть у меня», «Не весна тогда», «Хуторок» и «Ночь» – эти пьесы принадлежат не только к лучшим пьесам Кольцова, но и к числу замечательнейших произведений русской поэзии. Мы не говорим уже о неподражаемом превосходстве собственно лирических песен – талант Кольцова был, по преимуществу, лирический: но не можем не указать на повествовательный характер пьес: «Измена суженой», «Деревенская беда», «Бегство», обе песни Лихача Кудрявича, и на страстно-драматический пьес «Хуторок» и «Ночь».

Почти все песни Кольцова писаны правильным размером; но этого вдруг не заметишь, а если заметишь, то не без удивления. Дактилическое окончание ямбов и хореев и полурифма вместо рифмы, а часто и совершенное отсутствие рифмы, как созвучия слова, но взамен всегда рифма смысла или целого речения, целой соответственной фразы – все это приближает размер песен Кольцова к размеру народных песен. Кольцов не имел ясного понятия о версификации и руководствовался только своим слухом. И потому без всякого старания и даже совершенно бессознательно умел он искусно замаскировать правильный размер своих песен, так что его и не подозреваешь в них. Притом он придал своему стилю такую оригинальность, что и самые размеры кажутся совершенно оригинальными. И в этом отношении, как и во

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) всем другом, подражать Кольцову невозможно: легче сделаться таким же, как он, оригинальным поэтом, нежели в чем-нибудь подделаться под него. С ним родилась его поэзия, с ним и умерла ее тайна.

Некоторые песни Кольцова положены на музыку многими нашими композиторами. Жаль, что это большею частию не лучшие его песни, что произошло, вероятно, оттого, что песни Кольцова были доселе рассеяны во множестве периодических изданий. Теперь выходом в свет этой книги музыкальному таланту предоставляется прекрасное поприще для состязания с поэтическим талантом. Русские звуки поэзии Кольцова должны породить много новых мотивов национальной русской музыки<sup>{63}</sup>. И придет время, когда песни Кольцова пройдут в народ и будут петься на всем пространстве беспредельной Руси, как некогда пройдут в народ и будут заучены им наизусть басни Крылова...

К третьему разряду произведений Кольцова принадлежат думы – особый и оригинальный род стихотворений, созданный им. Эти думы далеко не могут равняться в достоинстве с его песнями; некоторые из них даже слабы, и только немногие прекрасны. В них он силился выразить порывания своего духа к знанию, силился разрешить «вопросы, возникавшие в его уме. И потому в них естественно представляются две стороны: вопрос и решение. В первом отношении некоторые думы прекрасны, как, например, «Великая тайна», «Неразгаданная истина», «Молитва», «Вопрос». Так, например, что может быть прекраснее этих стихов, проникнутых глубокой мыслию, выраженною поэтически и страстно:

Спаситель, спаситель!  
Чиста моя вера,  
Как пламя молитвы!  
Но, боже, и вере  
Могила темна!  
Что слух мой заменит?  
Потухшие очи?  
Глубокое чувство  
Остывшего сердца?  
Что будет жизнь духа  
Без этого сердца?<sup>{64}</sup>

Но во втором отношении эти думы, естественно, не могут иметь никакого значения. Сильный, но не развитый ум, томясь великими вопросами и чувствуя себя не в силах разрешить их, обыкновенно старается успокоить себя или какою-нибудь риторической фразой о высшем мире, или ироническою выходкою против слабости ума человеческого, как, например, сделал это Кольцов в думе «Неразгаданная истина», которая оканчивается так:

Подсеку ж я крылья  
Дерзкому сомнению,  
Прокляну усилия  
К тайнам провиденья.  
Ум наш не шагает  
Мира за границу,  
Наобум мешает  
С былью небылицу.

Это случилось и случается и с великими мыслителями, когда они брались или берутся за вопросы выше их времени или выше их самих. Кольцов, с его вопросами, не мог быть ни в каких отношениях ни с каким веком: они были важны только для него, и тем труднее было ему решать их. Но самый вопрос излагается у него часто с необыкновенною поэзией, доходящею до высокого (*sublime*[1]); чтобы убедиться в этом, стоит только прочесть его «Великую тайну». Несмотря на мистическую темноту выражения, которая иногда доходит до решительной бессмыслицы, как, например, в трех первых стихах думы «Божий мир», и естественная причина которой была та, что поэт больше ощущал и чувствовал, или, лучше сказать, больше предонощал и предчувствовал сердцем, нежели сознавал умом то, что хотел выразить словом, – несмотря на эту мистическую темноту, почти во всех его думах есть поэзия и мысли, и выражения. Многие осуждали Кольцова за этот род стихотворений, видя в них претензии полуграмотного прасола на философское умничанье. Да если вспомнить, мало ли за что не осуждали Кольцова эти «многие» – даже за то, что в беседах он сидел не все молча, но иногда осмеливался высказывать свое мнение о предмете общего разговора. Этю строгостию к Кольцову особенно отличались умные и образованные люди, книжники, литераторы, полулитераторы и литературщики. И поделом ему: как было сметь ему, безграмотному мещанину, удостоенному за его

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) талант чести быть принятым в общество умных людей, – как было ему, при них, «сметь свое суждение иметь»!.. Люди с книжным, вычитанным умом, с готовыми суждениями о чем угодно никогда не поймут, чтобы человек с вышею натурою, но обделенный образованием, мог на своем странном языке вслух выговаривать то, что глубоко запало в его душу и сильно заняло его ум; никогда не растолкуете вы им, что такой человек и ошибается-то лучше, нежели как они говорят дело, потому что он ошибается по-своему, а они говорят чужое.

Особенное достоинство дум Кольцова заключается в их чисто русском, народном языке. Кольцов не по кокетству таланта, а по необходимости прибегал к этому складу. В своих думах Кольцов – русский простолюдин, ставший выше своего сословия настолько, чтобы только увидеть другую, высшую сферу жизни, но не настолько, чтобы овладеть ею и самому совершенно отрешиться от своей прежней сферы. И потому он по необходимости говорит ее понятиями и ее языком об увиденной им вдали сфере других, высших понятий; но потому же он в своих думах искренен и истинен до наивности, что и составляет главное их достоинство. Хотя песни Кольцова были бы понятны и доступны для нашего простого народа, но все же они были бы для него гораздо вышею школою поэзии, а следовательно, чувств и понятий, нежели поэзия народных песен, – и потому были бы очень полезны для нравственного и эстетического его образования. Таким же точно образом думы Кольцова, изложенные образами и складом чисто, русским и представляющие собою первую высшую ступень простого русского человека в стремлении к нравственно-идеальному развитию, были бы очень полезны для избранных натур в простом народе.

Мистическое направление Кольцова, обнаруженное им в думах, не могло бы у него долго продолжаться, если б он остался жив. Этот простой, ясный и смелый ум не мог бы долго плавать в туманах неопределенных представлений. Доказательством этому служит его превосходная дума «Не время ль нам оставить», написанная им менее нежели за год до смерти. В ней виден решительный выход из туманов мистицизма и крутой поворот к простым созерцаниям здравого рассудка.

Теперь нам остается сказать слова два о редакционной части издания сочинений Кольцова. Мы расположили его сочинения по годам и разделили их на два отдела. В первом поместили мы одно лучшее, избранное, не нарушая, однакоже, хронологической последовательности, – и потому в этом отделе сперва идут пьесы первого периода поэтических опытов Кольцова, которые, естественно, слабее последующих, которые занимают собою середину и большую часть отдела; а в конце его, по той же причине, решились мы поместить и четыре последние стихотворения, довольно слабые и написанные Кользовым уже незадолго до смерти, во время тяжкой болезни, в мучительных обстоятельствах. Из них стихотворение «На новый 1842-й год» имеет свой интерес, как скорбное предчувствие поэта – увы! – слишком верно сбывшееся... Остальные три – как последние, уже замирающие звуки еще недавно громкого, мощного и гармонического голоса... Думы поместили мы отдельно, непосредственно после песен и не отделили лучших из них от слабых, потому что эти пьесы слишком тесно слиты с личностью Кольцова и интересны более как факты его внутренней жизни, нежели как поэтические произведения, хотя некоторые из них прекрасны и с этой точки зрения, как, например, «Великая тайна», «Могила», «Не время ль нам оставить». Таким образом, из 125 пьес в первом отделе помещено 79 пьес. Остальные 46 стихотворений мы напечатали в особом отделе, под особенной нумерацией, в виде приложения. Между ними есть много слабых, даже очень слабых; но нет ни одного, которое не имело бы хотя относительного интереса или замечательною степенью одушевления, даже страсти, или оригинальною мыслию, или счастливыми оборотами выражений, или, наконец, более или менее любопытным отношением к жизни и личности автора. Некоторые из стихотворений этого отдела были бы даже очень недурны, если бы отзывались большою зрелостию и выдержанностью... Таковы, например, пьесы: «Если встречусь с тобой», «Терем», «По-над Доном сад цветет», «Домик лесника», «Размышление поселянина», «Глаза», «Два прощания», «Бедный призрак», «Товарищу», «Не скажу никому», «Где вы, дни мои».

Также в виде приложения решились мы при собрании стихотворений Кольцова напечатать «Мысли о музыке», статью друга его Серебрянского. Это единственный оставшийся после Серебрянского литературный памятник, погребенный в одном малоизвестном и притом старом уже журнале. Мы уверены, что отношения Серебрянского к Кольцову, равно как и достоинства статьи, которая сама так похожа на музыкальное произведение, вполне оправдывают ее помещение в книге сочинений Кольцова.

О портрете Кольцова, в отношении к рисунку и литографии, читатели могут судить сами; мы ручаемся только за поразительное сходство этого портрета (снятого в 1838 году) с оригиналом{65}.

#### Комментарии

«Напечатано в книге «Стихотворения Кольцова. С портретом автора, его факсимile и статьей о его жизни и сочинениях, писанною В. Белинским». Издание Н. Некрасова и И. Прокоповина. СПБ. 1846 (ценз. разр. 5 февраля 1846).

В полном виде, с восстановлением цензурных пропусков и изменений, статья была напечатана по рукописи в издании Солдатенкова и Н. Щепкина, том XII, стр. 81–147 под заглавием «Алексей Васильевич Кольцов». Цензированный экземпляр наборной рукописи этой статьи хранится в настоящее время в рукописном отделе Государственной библиотеки ССР имени В. И. Ленина, шифр № 5322. В настоящем издании текст статьи сверен по этой рукописи. Все цензурные сокращения и изменения (кроме самых незначительных) отмечены в примечаниях.

О Кольцове Белинский писал еще в пору их первоначального знакомства (см. т. I наст. изд.).

Прекрасное знание условий жизни воронежского поэта, продолжительное личное общение с ним во время его приездов в Москву и Петербург позволили Белинскому с большой силой обрисовать в этой статье самобытную личность поэта-прасола и раскрыть во всей полноте трагедию его жизни. В этом отношении статья Белинского сохраняет до сих пор значение биографического источника первостепенной важности.

Статья Белинского при всей ее научной достоверности совершенно чужда академического бесстрастия. В характеристике поэта и условий его жизни звучит энергичный протест революционера-демократа против патриархально-семейного деспотизма с его звериной враждой к свободной личности.

Вторая половина статьи содержит блестящую характеристику поэзии Кольцова и ее значения. Критик подчеркивает ее простоту, искренность, глубину выражения народного быта.

С критикой основных положений статьи Белинского выступил Вал. Майков («Отечественные записки», 1846, № 11 и 12). Концепции Белинского о «непосредственной» народности Кольцова Майков противопоставил свою «космополитическую» теорию, в которой народ трактуется как инертная, темная масса, что вызвало позднее резкую отповедь Белинского (см. статью «Взгляд на русскую литературу 1846 года» в наст. томе).

В издании стихотворений Кольцова 1846 года Белинский участвовал не только в качестве автора вступительной статьи, но и редактора-составителя сборника. Им было отобрано и включено в сборник сто двадцать пять стихотворений, что давало достаточно полное представление о творчестве поэта. Отметим, что в «Полном собрании сочинений А. В. Кольцова», изданном Академией наук в 1909 году (3-е издание 1911 года), напечатано сто пятьдесят восемь стихотворений (плус пятнадцать юношеских), что не намного превышает количество, данное Белинским.

#### Сноски

1

Высокое, возвышенное (термин эстетики). – Ред.

#### Примечания

1

Эпиграф взят из «рассказа в стихах» Ап. Григорьева «Олимпий Радин» (1845), напечатанного в журнале «Репертуар и Пантеон» (1845, т. X, № 5, стр. 313–330). В тексте статьи Белинского в издании 1846 г. эпиграф был полностью выпущен цензурой.

2

Первый сборник стихотворений Кольцова был издан при помощи Н. В. Станкевича и при ближайшем участии самого Белинского. (см. т. I наст. изд.).

3

Альманах «Утренняя заря» издавался В. Владиславлевым в 1839–1843 годах. В этом альманахе были напечатаны следующие произведения Кольцова: две «Песни Лихача Кудрявича», «Кольцо», «Русская песня» («Не скажу никому...»).

В литературном альманахе «Сборник за 1838 год», изданном в Петербурге, были напечатаны песня Кольцова «Глаза» и дума «Молитва».

4

По более точным данным Кольцов родился 3(15) октября 1809 года. (См. хронологическую канву его жизни в «Полн. собр. соч. А. В. Кольцова», изд. 3-е, СПб., 1911).

5

Слово «У нас» было вычеркнуто цензором.

6

Вся эта фраза была вычеркнута цензором.

7

Из песни «Косарь», 1835 рода.

8

Этим другом детства Кольцова был сын купца Варгин. Он умер в 1824 году, поэтому предположение Белинского, что стихотворение «Ровеснику», написанное в 1826 году, обращено к нему, мало вероятно.

9

Стихотворение И. И. Дмитриева «Ермак», посвященное патриотическому подвигу покорителя Сибири, было написано в 1794 году (напечатано в 1795 г.).

10

Этому книгопродавцу, Дмитрию Антоновичу Кашкину, Кольцов посвятил в 1829 году проникнутое большой теплотой стихотворение «Письмо к Д. А. Кашкину».

11

Часть текста от слов: «его семейству...» и до настоящего места была вычеркнута цензурой и заменена одним словом: «другим».

12

Любимая Кольцовым крепостная девушка Дуняша, служившая в их доме, в одну из его отлучек была продана на Дон и там насиливо выдана замуж за казака. Слово

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru)  
«варварского» было вычеркнуто цензурой.

13

Цензором было оставлено: «сладковатые утешения».

14

Слова «будучи семинаристом» были зачеркнуты цензором. Он же заменил выражение «назначила ему другую дорогу и другое призвание» словами «назначила ему благородное призвание».

15

Из стихотворения «А. П. Серебрянскому» (1829).

16

Вместо слов «Возвращаясь домой» цензор написал: «Между людьми, ему близкими»; слово «дикие» было им вычеркнуто, как и весь конец фразы от слов «и, в этом отношении».

17

Из песни «Путь», 1839 год.

18

Конец фразы от слов «чтобы тяжким трудом» был выброшен цензурой.

19

Знакомство Кольцова со Станкевичем произошло в 1830 году.

20

В журнале «Листок» 1831 года.

21

«Молодой литератор» – сам Белинский. Знакомство его с Кользовым относится к 1831 году.

22

Белинский приводит далее с сокращениями письмо Кольцова к нему от 15 июня 1838 года. Белинским выпущены главным образом те места в письме, где Кольцов говорит о роли Белинского в его умственном развитии.

23

«Пора любви» – песня Кольцова (1837).

24

Последние две фразы были вычеркнуты цензурой. «Особа», об интригах и вероломстве  
Страница 27

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru)  
которой говорит Белинский, – младшая сестра поэта Анисья.

25

Все это место было изменено цензором: «способствовали возвышению его в глазах сограждан. Он был необходим для отца». В. А. Жуковский посетил Воронеж в июле 1837 года во время поездки по России, вместе с наследником, будущим Александром II. Жуковский дважды виделся при этом с Кольцовым, который сопровождал его при осмотре достопримечательностей города. О своих впечатлениях от встречи с Жуковским Кольцов писал к А. А. Краевскому 16 июля 1837 года (Полн. собр. соч., стр. 170).

26

Окончание фразы после точки с запятой было выброшено цензурой.

27

Из письма к А. А. Краевскому от 27 ноября 1836 года.

28

Из письма к Белинскому от 27 июля 1838 года. Конец приводимой части письма от слов «и лучше» был выброшен цензурой.

29

Из письма к Белинскому от 7 октября 1838 года.

30

Из письма к Белинскому от 28 сентября 1839 года.

31

Из письма к Белинскому от 15 августа 1840 года.

32

Из того же письма к Белинскому. Весь этот отрывок и предшествующая ему фраза («и это было бы делом отца его») были вычеркнуты цензурой.

33

Из того же письма к Белинскому.

34

В этот приезд в Петербург Кольцов жил у Белинского.

35

Из письма к Белинскому от 15 декабря 1840 года.

36

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru)  
Из письма к Белинскому от 27 января 1841 года. Значительная часть цитируемого  
отрывка (от слов «я писал к отцу...» до «срезали меня глубоко») была вычеркнута  
цензурой.

37

Вместо всей последней фразы цензором было оставлено: «Кольцов должен был жить и  
трудиться без копейки в кармане». В предыдущей фразе были вычеркнуты слова:  
«благодаря старческой мудрости и опытности».

38

Предыдущая фраза и слова «На беду его» были выпущены цензором. Ниже слово  
«организация» было заменено на «характер».

39

Из письма к Белинскому от 23 октября 1841 года.

40

Конец фразы от слов «а между тем...» был вычеркнут цензурой и заменен новым  
текстом: «а он его не имел».

41

Вся эта часть, рисующая страшную сцену надругательства над умирающим, была  
вычеркнута цензурой (от слов «мать его только украдкой...»). Вместо этого было  
поставлено безразличное: «ему не доставало обеда и ужина».

42

Цензором было заменено: «свадьба в том доме, где он жил».

43

Из письма к В. П. Боткину от 27 февраля 1842 года.

44

Конец фразы был смягчен цензурой: «за неудовольствия, которые ему делали».

45

Из письма к Боткину от 27 февраля 1842 года. Фраза в начале отрывка («С отцом  
вижусь редко...») была вычеркнута цензором. В подлинном тексте письма вместо слова  
«друзья», поставленного Белинским, было: «Василий Петрович, Виссарион  
Григорьевич».

46

Из того же письма? В нескольких местах этого письма упоминания об отце,  
«старике» были сняты цензурой или заменены другими выражениями.

47

Белинский здесь неточен. В действительности последнее письмо Кольцова,

О жизни и сочинениях Кольцова. В. Г. Белинский [belinskiyvissarion.ru](http://belinskiyvissarion.ru) адресованное Белинскому и Боткину, было написано в начале мая 1842 года (Полн. собр. соч., стр. 182).

48

Кольцов умер 29 октября 1842 года, как это явствует из записи в метрической книге.

49

Конец фразы от слов: «которой страсти и воля...» был исключен цензурой.

50

Слова «где, по его мнению, связь крови была скреплена связью духа» были исключены цензурой. Несколько выше были также вычеркнуты слова: «диких» и «родственной».

51

Вся эта гневная тирада Белинского против семейного деспотизма (от слов «в своем семействе...») была вычеркнута цензурой. Перед этим выражение «общество виновато» заменено другим: «обстоятельства виноваты».

52

Из письма к Белинскому от 15 августа 1840 года.

53

Из письма к Белинскому от 3 марта 1836 года.

54

Из письма к Белинскому от 28 апреля 1840 года.

55

Из письма к Белинскому, написанного в мае 1839 года (датировка приблизительная).

56

Из писем к Белинскому от 12 октября 1839 года и 7 октября 1838 года.

57

Дата неточна: песня «Ты не пой, соловей» была написана в 1832 году.

58

Из поэмы Лермонтова «Мцыри».

59

Из песни Кольцова «Путь» (1839).

60

Первая песня, содержание которой излагает Белинский, – «Раздумье селянина» (1837); вторая – «Перепутье» (1840). Оба следующие отрывка из песни «Измена суженой» (1838).

61

А. Ф. Мерзляков, профессор Московского университета, поэт и критик, автор многих романов и песен, в которых использованы традиции устной народной поэзии. Песни Мерзлякова, в том числе и упомянутая Белинским: «Чернобровый, черноглазый», были широко распространены в различных песенниках. Сборник Мерзлякова «Песни и романсы» был издан в Москве в 1830 году.

62

Первый отрывок из песни «Пора любви» (1837); второй – из песни «Что ты спишишь, мужичок?» (1839), третий и четвертый – из песни «Дума сокола» (1840), пятый из «Песни» («Говорил мне друг прощаюсь», 1839).

63

Пророчество Белинского, как известно, полностью сбылось.

64

Из думы «Молитва» (1836).

65 К изданию 1846 года был приложен портрет Кольцова, рисованный с натуры и гравированный художником К. Горбуновым.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://belinskiyvissarion.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!